K98 3/9

6

К98 3/9

Л. Фридланд

ШЕСТЬ БАЛЛОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
В ЛЕНИНГРАДЕ

№ 287
Отпечатано для Издательства Писателей в Ленинграде 2-й типографией ОНТИ им. Евг. Соколовой, Ленинград, Пр. Красн. Командиров, 29. В количестве 5300 экз. — 6¼ л. Заказ № 3573. Ленгорлит № 53552. Переплет и суперобложка М. Кирнарского. Сдано в набор 14/X 1932 г., подписано к печати 19/I 1933 г. Порядковый № 14. Формат бумаги 72 × 110. Типогр. знаков в 1 печ. л. 63936. Бум. л. 3⅛. Ответственный редактор М. Козаков. Технический редактор Д. Бабкин.
1933

БИБЛИОТЕКА
Госуд... ...рич Музея
№ 8153
30 VI 1933 г.

Часть первая

ПРОЛЕГОМЕНЫ

«Пролегомены (греческое) — введение в какую-либо науку».
Энциклопедический словарь.

1
ГОДЫ

Столкновение миллионных армий, начавшееся в июле 1914 года, обмануло наблюдателей и предсказывателей. Знатоки дела утверждали, что схватка протянется не более полугода. Дилетанты соглашались только на восемь недель. Однако месяцы шли за месяцами, а конца все не было видно.

Война обнаружила высокую живучесть.

Фронты ложились на карту мира как меридианы — от полюса до полюса.

Техника уничтожения требовала не только сырья, но — в огромном количестве — и квалификации. Наличных кадров нехватило почти сразу, и тогда стали совать в пасть войны полуфабрикат: наскоро испеченных солдат, недорослков-офицеров, кое-как подученных инженеров.

То же самое происходило и с врачами.

В средине 1914 года я, в числе еще нескольких сот молодых людей, переваливал с третьего курса медицинского факультета на четвертый. В силу военного времени программы занятий были укорочены и упрощены. Мы знали, что скоро будем пущены в дело и почти автоматически сменим студенческую тужурку на халат лекаря.

Такому переходу наша академическая и практическая подготовка соответствовала весьма мало. Опыт должен был

приобретаться текущей работой. Нам предстояло испортить множество материала. Материалом же служили человеческие жизни.

Этим обстоятельством, понятно, никто не интересовался — ни те, кто нас выпускал, ни те, кто нас принимал. Спокойствие совести, если в нем была нужда, аргументировалось логикой сурового долга перед родиной, требовавшей жертв.

Мнения же материала, на котором мы должны были упражняться, не спрашивали.

В мае 15 года я надел шинель и погоны; по киевской мостовой зазвенела еще одна пара шпор.

Легко бегущие улицы, дома, река, прелестная зелень скверов составляли главное очарование этого города, несколько легкомысленного, склонного иногда к меланхолии и ханжеству.

Когда им овладевали религиозные приступы, он бежал в пещеры, бил поклоны перед мощами в древних кладбищах, в подземельях Лавры.

Я помню смерть камергера двора его величества, председателя совета министров, Петра Аркадьевича Столыпина. Его ранил в театре присяжный поверенный Богров, внук маститого еврейского писателя, социалист и провокатор. Убийца дал блестящий сеанс трансформации: в здание оперы вошел агент жандармского отделения, выстрел прозвучал выстрелом террориста, на виселицу поднялся преступник в безукоризненном фраке адвоката, саван принял тело предателя, мстителя и жертвы одновременно.

Пока его судили и совершали казнь, премьер-министр с продырявленной печенью умирал медленно и мучительно.

Столыпина я видел. Властный, высокомерный, сидел в карете этот человек. Его черные, как на старых этикетках мыла Бодло, борода и усы оттеняли породистую белизну холодного лица. Впереди, в дворцовом экипаже, ехал Николай II, желто-серый, малозаметный со своим невыразительным рублевым профилем. Между временщиком и царем высился монументальный зад кучера. Высокие

особы открывали восьмого сентября того года памятник Александру II. Торжества длились четыре дня.

А одиннадцатого сентября ночью Богров стрелял в Столыпина. Об этом сообщил мне на другое утро Самоша.

Самоша был мой земляк, длинный, как линейка, юноша, нескладный, широкий в плечах и сжатый в бедрах, переступавший как-то по-журавлиному. Он числился слушателем Коммерческого института.

Над городом, тотчас же за покушением, нависло ожидание погрома. Все кварталы бедноты, — одни, чтобы разориться, другие, чтобы поживиться, — готовились к нему.

Погрома однако не произошло. Гроза на время отошла.

Говорили, что губернатор получил хорошую взятку от именитого еврейства.

Зато через год, приблизительно, стала развертываться новая страница мракобесия: дело Бейлиса.

Председателем суда был благообразный седой человек в крахмальной манишке, с строгим лицом земского учителя. У петербургского прокурора пробор выглядел совершенно по-английски. Двадцать испуганных лавочников и чиновников, присяжных заседателей, тоскливо, как на затянувшихся именинах, посматривали в зал, полный отборной публики.

Обстановка была от XX века.

Ксендз Пранайтис, с лицом скопческим и желтым, как песок Туркмении, из которого его извлекли, иезуит и эксперт, воодушевлялся экскурсиями в талмудическое крючкотворство. Бесноватый Замысловский, истец человеконенавистничества, был яростен и свирепо выжимал из хасидизма квинт-эссенцию ритуала.

Возы древних фолиантов, покинувших прохладный покой синагогальных шкафов, высились грудами на столе вещественных доказательств.

Над процессом поднимался чад средневековья.

Невзрачный человек с спутанной черной бородой до ушей занимал какое-то эксцентрическое положение. Казалось, что его дело — сторона, и молодцеватый конвой за его спиной тоже был здесь не при чем. Бейлис выглядел тупым, ошеломленным и забитым.

Чем шире лились речи, тем бедне становилась канва процесса.

Детали проступали, как ребра лошади, которую нечем кормить.

Был воровской притон. Хозяйке «малины» мешал мальчик, Андрюша Ющинский, двенадцатилетний сын сожителя. Неплохой кандидат в будущие громилы, он знал слишком много и был болтлив. Тогда его устранили. Труп, покрытый ссадинами и ударами ножа, бросили в укромное место окраины, на задворки кирпичного завода.

Кто-то наткнулся на тело. Все шло обычным порядком и кончилось бы вероятно прекращением дела за неровыском преступника, если бы внимание следователя не остановилось на числе и расположении ран.

В ту пору черносотенные перья каждую весну вспахивали версию о ритуальных убийствах христианских младенцев мужского пола. Тема была близка духу балуемого в сферах «Союза русского народа», значком которого сам царь украшал свою полковничью тужурку.

Следы ранений и уколов легко приняли в глазах следователя апокалипсический рисунок обряда.

Сторожем кирпичного завода оказался еврей Бейлис, обладатель черной хасидской бороды.

Все складывалось неопровержимо. Схема обрастала плотью.

Студент Голубев, возглавлявший «Союз архангела Михаила», верзила с угрюмым взглядом и обезьяними руками, заказывал молебны об убиенном младенце. Манифестации шли из церкви в церковь. Поднялся вопрос о канонизации мученика Андрея.

В Петербурге прислушивались к поминальному пению. Одобрение власти было гарантировано. Верховный жрец царской Фемиды, министр юстиции Щегловитов, предоставил этой чудовищной затее все аксессуары закона и правосудия.

Толпы осаждали бело-розовое, в облуплинах, здание суда. Внутрь проникали только немногие счастливцы. Места были распределены задолго до открытия заседания. Го-

родовые, конные и пешие, напирали на забитые людьми тротуары. Полиция была мобилизована, как в дни стачек и бунта.

Толпа делилась впечатлениями.

— Поди, бедняга, мучается, — сокрушалась какая-то старушка с корзиной в руке. — Злодей, а все же человек.

— Ну, еврейская нация не промахнется, — говорил около нее человек в чиновничьей фуражке с отвисающими, как у бульдога, щеками. — Она не выдаст. Тыщи положит, а своего добьется. Оправдают. Один катал.

Старушка испуганно качала головой. Черный и круглолицый человек, одетый в помятый пиджак, грубо сказал:

— Чего такое болтаете, господин. Злодей! Какой он злодей? Тут политика замешана. Чтобы народ на власть не роптал, промеж людей рознь разжигают. Отвлекают от власти, а вы про нацию туман напускаете. Видать, вы, господин, птица известная.

В толпе послышался смешок. Парень, веселый, улыбающийся, воскликнул:

— Здорово кроет!

Городовые нажали, спорящие раздались в стороны. В другом месте степенный купец рассказывал:

— . . . Мы, — говорит, — конечно, власть большую имеем и все можем. Прибыль заполучаем, смазать можем, товар самый гнилой продать можем за первый сорт. Шкуру содрать процентами можем. В газетах все можем написать, свои газеты заводим, ежели надобно, забастовку устроить нам нипочем, но религию свою сполнять по полной форме невозможно стало: крови христианской доставать трудновато. Синедрион ихний выслушал старшого и порешили: за каждое православное дитё платить сто тысяч новехонькими. А этому Бейлису сто тысяч новехонькими оказалось мало, он давай требовать еще. Тут между ними начался раздор...

— Басни сочиняете, — кто-то заметил. — Лавочная конкуренция в вас заговорила. Еврей ловчее торгует, вот вы за прибыль и опасаетесь свою.

Глаза степенного купца налились кровью.

— Это кто ж басни сочиняет? — свирепо выкатывая белки, угрожающе сказал он. — Ах ты, социалист проклятый!

Когда вынесли приговор, — суставчатый, складывавшийся в обе стороны, выгораживавший еврея и признававший ритуальность, — толпа загудела и разнесла недоумение по истомившемуся в ожидании городу. Никто не знал, чья победа и чье поражение были в этом решении.

Однажды я пробрался в зал суда. С подпотолочной выси галереи передо мной открывался весь спектакль.

Наглая, коренастая Вера Чеберяк, мадонна притона, выжимая слезы из своих красивых глаз, рассказывала о страданиях, терзавших ее сердце, когда пасынок исчез.

Журналисты, общественные деятели, проходимцы, дно Киева, сыщики, бывшие и настоящие, чины полиции давали свои показания.

Череп Пранайтиса качался над коллегией экспертов.

Александр Яблоновский, фельетонист и добровольный Шерлок-Холмс, рассыпал свои парадоксы на очных ставках с бандитами, которых он выслеживал в кабаках города.

Замысловский кликушествовал.

Виппер, обвинитель, холодно вставлял свои прокурорские ремарки. Плеяда юристов, известных всей России, расположилась у подножья судейской трибуны.

Зарудный охотился за цитатами, вороша горы старинных книг.

Грузенберг был язвителен и философичен.

Остальные в свою очередь расточали блеск и красноречие.

Корреспонденты английских, французских, итальянских, американских, японских, немецких, африканских газет чиркали перьями и во время перерывов мчались, сломя головы, на телеграф.

Почтамтские барышни обливались потом над Монбланом депеш.

Тщедушный бородатый еврей с непонимающим лицом сидел в стороне.

Конвойные, выпустив вихры из-под шапок набекрень, держали шашки наголо.

Я торчал на галерее, возле корреспондентских мест, сдавленный со всех сторон налезавшими на барьер людьми.

Внизу шумело море голов.

Около меня стоял человек с большой головой, с шевелюрой, густой и белой. Борода, спутанная и широкая, еще сохраняла буроватый оттенок. Глаза ушли далеко под взлохмаченные брови.

Это был Короленко.

Автор «Слепого музыканта» приковал мое внимание столько же, сколько происходивший внизу процесс. Помимо естественного восхищения им, как художником, я не забывал, что этот человек, суровый и седой, скромно сейчас приткнувшийся у барьера, поднимал публицистические бури. В своих корреспонденциях о деле сектантов он рассказал о ненависти, которую несет религия. Он рассказал о казнях, которыми самодержавие укрощало непокорных. Его знаменитое «Бытовое явление» о военно-полевых судах, вызвавшее, как отклик, гневную статью Льва Толстого «Не могу молчать», еще жило в памяти потрясенной читательской России.

Страна была больна. Это понимали даже глухие и слепые, хотя не все знали, чем недуг может кончиться и когда он кончится. Господствовавший строй лечил его железом и кровью. Столыпин, введший для повседневного потребления скорострельную юстицию, имел в своих преемниках достойных подражателей. Число казненных возрастало от года к году. Очевидно лекарство плохо помогало режиму, так как брожение и недовольство масс не убывали, а возрастали.

Пока кадеты, октябристы и трудовики разговаривали с властью, стоя на кафедре Государственной думы и стреляя, как безопасными хлопушками, запросами, рабочие выключали станки, заполняли улицу и демонстрировали свою волю к борьбе. Стачки сменялись локаутами, за локаутами начинались стачки. Крестьяне нападали на имения.

Крестьяне хотели земли. Эта простая истина входила в политический багаж даже каждого гимназиста. «Куренка выпустить некуда» — тирада мужика из пьесы «Власть

тьмы» — была основным аргументом выступлений либеральных аграрных преобразователей. Урядники со стражниками выезжали в деревни для усмирений. Переселенцы шли в Сибирь, где им нарезали худую землю, так как жирная была уже отхвачена удельным ведомством, умножавшим доходы императорской семьи, обильной великокняжескими отпрысками. Столыпинская реформа выкраивала из деревни хутора, и все же мужик оставался обездоленным, упорно хотел земли и шел за нее в тюрьму.

Все это вылезало из каждой строчки газет и журналов, даже благонамеренных. Подпольные брошюры ко мне не попадали. Запрещенная литература распространялась по путям, которые мной не пересекались. Я читал газеты и журналы так называемого прогрессивного лагеря, и поэтому смотрел на Короленко, когда он оказался возле меня на процессе, глазами тех, кто знал именно эту свободомыслящую, несколько бесформенную публицистику.

Весна четырнадцатого года была замечательной. В парках города деревья покрывались торчками почек, земля дышла паром и выпускала робкую зелень. Солнце катилось по великолепному небу; вечера стояли темные и пахучие.

В стране тоже была весна, скучная, нудная. Среди общего молчания говорила только Государственная дума. Но эти речи были уже привычны, тягучи, как вермишель, а тем, кто хотел кричать во весь голос негодования, затыкали рты. Затем их кутали в смирительную рубашку тюрем и ссылки.

Все это было мне знакомо по газетам и совершалось как бы вне меня.

Однажды все же сотни тысяч таких, как я, приподняли головы и прислушались. Над страной прозвучал бас фельдфебеля, самонадеянный и хвастливый. Военный министр Сухомлинов давал свое знаменитое интервью в статье «Мы готовы» пропперовской «Биржевки».

Передовицы «Русского Слова», «Русских Ведомостей», «Утра России» и других органов либеральной прессы констатировали, что от этого фанфаронства пахнет в воздухе порохом. Потом все успокоилось.

В конце мая я сдал зачеты и перешел на следующий курс.

Мать Самоши, таганрогская жительница, сняла на лето домик в рыбачьем поселке на Днепре, недалеко от Екатеринослава, и сзывала туда всех членов семьи. Это заменяло им дачу. Самоша потащил меня с собой.

Еще не было ни Сараева, ни австрийского ультиматума, Пуанкаре, президент Франции, собирался в гости к Николаю II. Все казалось тихим и безоблачным.

Я и Самоша сели на пароход и поплыли вниз по Днепру.

2

ГЛАВА ОБ ЭНТУЗИАЗМЕ

Берег полого подымался кверху. У воды его окаймлял желтый ровный песок. Солнце низвергало потоки лучей, кожа быстро смуглела. Каждый день мы купались. Ссор у нас не возникало. В общем, это напоминало буколическую жизнь по Руссо.

У Самоши были две сестры: одна — рыжая, другая — брюнетка, обе некрасивые, но очень милые девушки. Катюша была старшая, она громко хохотала, встряхивая черными локонами, и голос у нее был низкий, грудной. Она замечательно пела под Варю Панину. Я и Женя, тонкая, с большими блестящими глазами, составляли ее неизменных слушателей.

Рыбака, глуховатого хозяина дома, все звали Кутеркой, настоящая фамилия его была Кутенков. Он жил во флигеле со старухой Варварой, энергичной и сварливой, и с сыном, молодым богатырем, своим помощником; а в домике две комнаты занимали женщины. Третью заселяли Самоша, его брат Валентин и я. Валентину исполнилось семнадцать лет, и голос его ломался.

За строениями раскинулся фруктовый сад, и деревья влезали в окна нашей комнаты. С краю пустыря стоял другой рыбацкий домик, за ним еще и еще. Поселок разбросался очень вольготно вверх и в стороны. Еще дальше начинался лесок.

Днем мы занимались разной разностью, каждый избранным видом безделья, а по вечерам вступали в дело луна, сад, речная свежесть. Катюша напевала под Панину.

Внезапно прогремели выстрелы славянина Принципа.

Кой-какие подробности биографии Франца-Иосифа, опечаленного деда убитого эрцгерцога, и жестокая романтика династии Габсбургов вплелись в темы наших бесед. Мы говорили об императрице Евгении, странной, сумасшедшей, печальной, поклоннице Гейне, зарезанной анархистом. Таинственная история Марии Вечера, ночной пир в охотничьем замке Рудольфа, загадочная смерть любовников потрясли наше воображение.

Вскоре однако Австрия вытащила меч и приставила его острие к горлу маленькой Сербии.

Зловещая тень ультиматума закачалась над Европой.

Пуанкаре, праздновавший в Петербурге франко-русский союз, прервал свой блистательный визит. Император Вильгельм катался еще в шхерах Скандинавии, но на августейшей яхте уже шли совещания с начальником генерального штаба.

Посланники суетились, обменивались депешами и делали вид, что управляют судьбой наций.

Все эти новости нас взволновали. Однако мы не думали, что дух войны выпущен и его нельзя загнать обратно. Наш пацифизм, впрочем, был бессознателен. Мы просто верили в заклинанья дипломатов.

Скептиком был только Кутерка.

— Чего там пишут? А? — спрашивал он при виде газеты.— Скоро ль зачнут?

И он приставлял ладонь к уху. Австрия вызывала у него нескрываемое презрение, Германия же внушала боязнь.

— Австрияка — это тьфу, — соображал он вслух. — Без немца не выстоит он.

— Войны не будет, Антон Антонович, — подавал я реплику. — Договорятся.

Он наклонялся ко мне, чтобы лучше слышать, оголенные веки его мигали, и лицо принимало строгое выражение.

— Неверно полагаете, барин хороший, — укоризненно от-

водил он голову. — Неужто зря денежки тратят на разный военный струмент? Оправдать-то надо? Сколько стоят одни генералы? Это что ж, для параду только? Война будет беспременно.

Кутерка был хороший хозяин. Если заводят сети — значит, будут ловить рыбу. Это он превосходно понимал. Раз есть пушки — значит, они должны стрелять. Мы же были прекрасными пацифистами, но круглыми дураками в хозяйстве, истории и социологии. Мы думали, что и правительства и дипломаты избегают и не хотят войны, и что этого достаточно, чтобы войны не было.

В наш поселок письма попадали через Верхне-Днепровск. Они докатывались до этого городка и застревали там в почтовой конторе. Валентин, любитель верховой езды, ездил за ними. У соседей он доставал лошадь и седло.

Письма и газеты обычно бегали по всем закоулкам поселка, чтобы поймать адресата.

Теперь мы бегали за ними. События сделали нас нетерпеливыми, и, прежде чем всадник успевал отпустить поводья, мы бросались к нему гурьбой.

Однажды я, Самоша и девушки стояли у конца лесной просеки и смотрели жадно вперед. Наконец, лошадь вырвалась на опушку и обдала нас вихрем. Валентин, соскочив с седла, прокричал, задыхаясь:

— Война! Война с немцами началась! Ура!

Мокрые бока кобылки раздувались и ходили как меха.

— Война! — сказал Самоша. — Чорт возьми, это новость.

Поклонник всего английского, он культивировал в себе холодную сдержанность. Теперь, однако, он повторял взволнованно:

— Чорт возьми, вот так новость! Война с немцами!

Вспомнив наконец о корректности, он добавил, пытаясь быть хладнокровным:

— А где почта?

Въехав в городишко и наткнувшись у первого же забора на телеграмму военного министра, Валентин повернул лошадь и проделал галопом обратный путь, забыв о цели поездки.

Он прискакал с пустыми руками.

— Война, война! — закричали девочки и побежали в дом.

Голубой маркизет Жени мелькал, как кусочек неба между темными стволами.

Самоша протер пенсне.

— Я раздобуду линейку, — сказал он мне, хмурясь. — Поедем со мной в город за письмами.

Недалеко от поселка находился Корбинский металлургический завод. Трубы не дымились, машины не грохотали, не шумели. Завод почему-то бездействовал. Наш поселок по имени завода тоже назывался Корбино. Сам заводчик жил недалеко в имении. Самоша с кем-то успел завести там знакомство.

Через пятнадцать минут экипаж времен аксаковской помещичьей хроники подъехал к околице поселка. Самоша промоздился на высоком сидении; ему недоставало только пыльника, чтобы быть похожим на мелкопоместного степного барина. Он помахал мне рукой и подвинулся. Его бритое лицо украшала складка брезгливости.

Мы покатили. За лесом лежали поля. Необозримая рожь качалась и бежала, точно стада испуганных овец.

— Война это, конечно, кровь, — сказал Самоша. — Но, в конце концов, дорогое развлечение всегда стоит хорошей платы. Человечеству не мешает встряска, а то скучно стало. Тем более, что продлится кампания недолго при теперешних масштабах вооружений.

Романтическая жестокость была свойственна моему приятелю; вероятно это тоже отдавало, по его мнению, английским резонерством. Я подумал и сказал:

— Ничего хорошего в том, что Австрия напала на Сербию, нет. Это несправедливо и отвратительно. Это недостойно цивилизации. Вообще в двадцатом веке можно было бы решать менее кровожадно международные вопросы.

Вожжи натянулись в его руках. Мы огибали большую выбоину.

— Мой отец имеет захудалый кожевенный заводик. Теперь он начнет богатеть на поставках. Как видишь, — насмешливо добавил он, — война не всегда зло.

Погиб Самоша в восемнадцатом году.

Родители его жили в Таганроге. Сам он провел несколько дней в Ростове и возвращался домой. Был январь того незабываемого года.

Поезд добрался только до станции Морской. Шахтеры шли от Матвеева-Кургана, взяли Таганрог и продвинулись в направлении Ростова до Бессергеновки.

О завоевании Таганрога сохранилась такая деталь. Железнодорожный путь здесь упирается в станцию перпендикуляром, так что, отходя, поезд идет долго задним ходом. Вокзал охранялся офицерским отрядом, и к зданию нельзя был подобраться. Тогда рабочие разогрели два паровоза, дали им полный пар и, одного за другим, без машинистов, пустили вперед. Вокзал был разметен вдребезги.

Словом, фронт оказался уже за Таганрогом, между Бессергеновкой и Морской. Поезд из Ростова дальше не мог двигаться. Пассажиры вылезли из вагонов.

Было утро крепкого зимнего дня. За полотном, на снегу, чернели люди в полушубках и шинелях. Погоны блестели на их плечах. Это были офицеры и юнкера добровольческой армии Корнилова и Алексеева. Они перебегали дорогу, потом группами уходили к редким придорожным деревьям.

Самоша тоже вылез из вагона. Он, вероятно, не был ни белым, ни красным. Он мечтал быть англичанином. Ему нужно было вернуться в Таганрог. Однако между ним и домом протянулась боевая линия. Ему объяснили, что пробиться можно только оружием. Тогда он выпросил винтовку со штыком и обоймы и пошел в атаку вместе с теми, кто двигался на город, против тех, кто заграждал город. Ему представлялось, очевидно, что так поступают англичане. А может быть жаль было кожевенного завода своего.

Он был убит одной из первых пуль.

Я думал о том, что мне делать.

Войну я знал по 1904 году, когда русские и японцы дрались на полях и сопках Манчжурии. Были Мукден, Ляоян, Сандепу, перекидной огонь по невидимой цели в Порт-

Артуре, глубокие обходы, рейд Мищенко, священники впереди полков с выбитыми офицерами. Команды миноносцев открывали кингстоны и шли на дно. Броненосцы взрывались. Макаров и Верещагин погибали на борту «Петропавловска».

Словом, я помнил героику войны.

В сражениях убивали людей. Это мне тоже, конечно, было известно. Оборотная сторона героики ясно представлялась мне в коротких, обрубленных строках военных донесений.

Думал я однако не об этом. Смутно, бесформенно, но почти осязательно чувствовалось, что Днепр, дорога во ржи, тихий рыбачий поселок стали бессмысленны. Быть здесь, когда над миром наклонялась черная тень штукковского всадника, все равно, что закидывать удочку под Ниагарой.

Дорога стала загибать к оврагам. Появились заборчики. Домики шли вразброску, нерешительно, а потом слились в улички, широкие и пыльные. Тотчас же на кривой тумбе, у первого перекрестка, среди пестроты аршинных лоскутов остро, как крик, сверкнуло слово:

МОБИЛИЗАЦИЯ

Оно составляло заголовок. Под ним нанизывались черные линии приказа. Тут же мы увидели огромные буквы двух строк в черном, как траур, квадрате:

ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА НАМ ВОЙНУ
ВОЕННЫЙ МИНИСТР СУХОМЛИНОВ

Одна из улиц вытянулась в проспект. По ней, в середине, был огорожен тонкими сучковатыми жердями бульварчик. Вдоль аллеи кособоко стояли скамьи на мшистых столбиках. Затем показались двухэтажные домики с магазинами, балкончиками, подъездами. Мы ехали центральной

частью города. Оранжевыми окнами и резным крыльцом выделялась почта.

Бульварчик был усеян человеческими фигурами. Они сидели на замшелых лавочках, а некоторые — на изгороди, гнувшейся под тяжестью тел. Многие устроились прямо на земле. Обветренные лица и грубые сапоги обличали их. Это не были праздношатающиеся. Но они никуда и не спешили.

Проспект замыкался площадью. В обычные дни она шумела голосами базара. И теперь на ней, как всегда, стояли ряды телег. Я увидел крестьян, они тоже никуда не спешили и ничего не продавали. Они столпились у кирпичного широкого одноэтажного дома воинского начальника. С ними находились женщины.

Все это были мобилизованные.

Двери и окна чистенького здания с акуратной зеленой вывеской государственной винной монополии оказались тщательно застегнутыми деревянными щитами. На железных рейках висели замки.

Водка была взята на запор.

На крыльцо вышел Самоша с пачкой корреспонденции.

— Германия и Австрия против нас, — сказал он. — А Франция с нами. Вероятно, присоединится и Англия. Только что я говорил с начальником почты...

Мы оба вытянули шеи. Гул смутно, как завывание ветра в трубе, просочился сквозь звуки улицы. Он надвигался, заполняя собой воздух, и превращался в знакомый ритм.

Пели «Боже, царя храни».

Из-за базарной площади вышла толпа. На медалях горели солнца. Впереди, выпятив грудь, шагали городовые, обнажив потные, напряженные, оторопелые головы. Трудно было представить себе, что у городовых есть простые, домашние, не обгорелые лбы. Между кителями чиновников и мундирами околоточных нырял портрет царя. Купцы разевали рты. Вперемежку толпились женщины в шляпках, молодые люди, гимназисты. Мальчишки забегали вперед и вздымали пыль.

Манифестация выбралась на проспект.

В поле, на обратном пути, мы встречали крестьянские телеги. Кумачовые сарафаны женщин ярко цвели в желтых волнах колосьев. Мужчины нетрезво тянули песню. Далеко по сторонам, среди ржи, мелькали лошадиные морды, звенела обрывками гармонь. Люди ехали в город по всем дорогам.

— Австрия напала на Сербию, — сказал я, просмотрев газетные новости, — Германия на Бельгию. Это чорт знает что! Гиганты на пигмеев! Неудивительно, что Франция, Англия и Россия соединились, чтобы выступить против насилия. Разве это не справедливо?

Самоша поджал насмешливо губы.

— Мой отец, конечно, найдет, что война, которую мы ведем, законна и справедлива. Тем более, что я, его сын, не подлежу пока мобилизации.

— Почему ты все сводишь к деньгам и к эгоизму? — заметил я. — А право? А культура? А принципы цивилизации?

Он выдержал паузу, означавшую бесстрастие. Затем корректно ответил:

— Культура, право, цивилизация — это все само собой. А военная прибыль — само собой. Одно другому не мешает.

Сумерки ложились незаметно. Над шарабанчиком качались темные верхушки лип. Из леса, свернув вбок, мы выбрались на бугор.

Река сонно набегала на берег. В рыбачьих хатах загорались крохотные огни, похожие на огни папирос в темноте. Мы остановились на высоком откосе.

Около нас тянулась ограда из редких прутьев, за которой поднимался большой белый дом. Позади него разбросалось несколько строений, очевидно службы.

Я остался, а Самоша поехал куда-то вглубь за ограду отдавать экипаж.

На небе расплывалась слабая заря вечера, облака сбивались к западу. Была тишина, идиллическая тишина, обещающая глубокое безмолвие ночи.

Вдруг послышались голоса. Сквозь деревья я увидел высыпавших на веранду людей. Они кричали, и дискантовые взвизгивания женщин перебивались мужскими альтовыми криками:

— Ура... Ура... Да здравствует... — разобрал наконец я отдельные вопли.

Крики стали утихать, и началось пение. Мелодия обрывалась и снова возникала. Опять зазвучал гимн. В паузах звенело высокое детское восторженное визжание. Патриотическое воодушевление, сумбурное, многоголосое, разрывало покой вечера.

Самоша вернулся хромая. Он ушиб колено. Болезненная гримаса стягивала его рот, некрасивый, изломанный.

Мы спустились к поселку.

— Я завтра еду в Киев, — сказал я уже у крыльца. — Ты останешься?

Самоша посмотрел на меня сбоку.

— Разве я тебе не сказал? — ответил он. — Мне на почте сообщили, что пассажирское движение прекращено на пять дней.

3

НЕСКОЛЬКО ТЕОРИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТУМАННОСТЕЙ

Я решил ехать пароходом, хотя таким образом путь удлинялся. Сидение в этой безмятежной тишине представлялось мне несусветной глупостью.

На другой день с утра я выбрался к пристани. Все меня провожали. Время тянулось страшно медленно; казалось, что посадки никогда не будет. Наконец подплыл, разгоняя кругами волны, большой пароход. Его палубы, нос, борта были усеяны разноцветным человеческим населением. Преобладали белые платья женщин. Пристань качнулась. Провожающие и отъезжающие кивали друг другу, потом помахали платками. Волны бурлили и хлюпались на низкий берег.

Среди пассажиров попадалось много военных. Их тужурки хаки сверкали новыми пуговицами, — это были только что призванные. Кто-то возле меня сказал:

— Ты не скучай, Пупа. Посмотри, здесь и наш доктор Шукирев с Развольской улицы. Нет, не там, вон он стоит.

Худенькая женщина в кремовой кофточке прижималась к усатому человеку в форме прапорщика. Ни портупея, ни шашка, ни погоны не могли скрыть его профессии не то старшего бухгалтера, не то владельца скромного писчебумажного магазина. Он указывал рукой в сторону. Там стоял военный с брюшком, молодцевато выгибавшийся над перилами и смотревший на нижнепалубную толпу. Мундир уже бросил оттенок высокомерия на его лицо. Он встретился взглядом с моими соседями и сдержанно, с достоинством, поклонился.

В это мгновение ветер запел между палубой и мачтой. Фуражка доктора с Развольской улицы вспорхнула и снизилась где-то в зыбкой толчее за люками. На солнце внезапно зарозовел голый череп. Доктор от неожиданности прикрыл лысину рукой и смущенно замигал.

В Киеве оказалось все на месте. Город выглядел таким же. Манифестаций не было: их цикл уже закончился. В сутолоке улиц не чувствовалось особенного оживления. Части, очевидно, двигались по железным дорогам, не задерживаясь в городе. Только офицеров стало больше.

Газеты печатали сводки Штаба верховного главнокомандующего и восторженные сообщения о русской доблести. Национальный эпос уже обогатился Козьмой Крючковым.

В ожидании начала занятий я болтался по Крещатику, грелся на Владимирской горке, с мостика Царского сада смотрел вниз на дорогу к Подолу и отдавался легкому головокружению высоты.

На Владимирской горке я встретил Глябина, нашего студента. Это был среднего роста парень, низко стриженный, с круглой головой, такой полнокровный и компактный, точно природа трамбовками забивала в него мышцы, кости, сосуды. Он происходил из области Войска Донского, из станицы Урюпинской.

— Здравствуй, Яков, — удивился я. — Ты разве здесь?

— Здорово, — встряхнул он мне руку. — А где же мне быть?

— Я думал, что казачья доблесть загорелась в тебе и ты уже бьешь врага. Вроде Крючкова геройствуешь.

Его глаза осветились насмешливым огоньком.

— Дурацкая пропаганда, — сказал он медленно. — У нас Крючков, а у других какой-нибудь Карл Бергер или Жан Матью. Все это рассчитано, кто понимает, на засорение мозгов.

В разговоре он постоянно вставлял «кто понимает» и любил такие слова, как «массы», «класс», «социальная борьба», «ход истории», «агитация», «пропаганда».

— О чьих мозгах ты говоришь? — спросил я.

— Конечно, не о твоих или моих, — ответил он спокойно. — Я говорю о массах. Воюем не я и не ты, а мужики и рабочие. Мало того, что их гонят под пули, еще хотят, чтобы они расшибали лбы с удовольствием.

— Не все ли равно — с удовольствием или без удовольствия?

Пятна света шевелились на его тугих, плотных щеках, на носу, на подбородке.

— Далеко не все равно, кто понимает, — сказал он своим эпическим тоном, всматриваясь ищущим взглядом в глубину дорожек. — По существу ты прав: для объективного хода истории дело не меняется, борьба за рынок будет до тех пор, пока капитализм не свернет себе шеи. Но накопление недовольства — лучший агитатор масс.

— А чему оно помогает? — спросил я, плохо уразумев связь рынков и капитализма с войной.

Он вдруг улыбнулся.

— Я не пророк, брат, и не предсказатель. Все зависит от организованности этого недовольства, от военных успехов, от глупости правительства, да мало ли, кто понимает, еще от чего. Ну, я пойду. До свидания.

Он оторвался от ограды и неторопливо двинулся по аллее. Ему навстречу шел, размахивая руками, небольшого роста человек в картузе, по виду мастеровой, в черной сатиновой рубашке, опоясанной шнурком с висящими кистями. Они завернули в сторону и скрылись за деревьями.

Я смотрел на голубой простор Днепра, с плывущими в высоте светлыми облаками, и старался понять смысл глябинских слов. Все, что писалось о войне даже в левых га-

зетах, сводилось обычно к вопросу о нападении и обороне. Немцы отвратительны, потому что начали войну и презрели договоры, объявив их «клочком бумаги», русские и французы вынуждены обороняться и спасают цивилизацию. Сказанное Яковом, хотя и казалось несколько туманным, однако поразило меня, так как не обвинило в отдельности никого из воюющих и не решало, кто из них лучше или хуже, кто нападает и кто защищается.

Однажды днем по Крещатику побежали трамваи с необычными пассажирами. Прохожие сбивались кучками, глазели на них, подбегали к заторщикам. Кой-где покрикивали «ура». Солдаты, с шинелями внаброску, сидели в этих вагонах. У многих были забинтованы головы, руки висели на повязках.

К этим первым участникам боев, эвакуированным в госпитали тыла, присматривались с интересом и жадным любопытством, как бы ища на их лицах отражения боевых событий.

Карта лоскутной монархии Франца-Иосифа тем временем катастрофически обнажалась. Над именем генерала Рузского уже накапливалась слава суворовских ударов. При сообщении об обстреле подступов к древнему и богатому городу Львову патриотический энтузиазм овладел Киевом. Во Владимирском соборе было назначено благодарственное служение богу.

Пал Львов. На горизонте маячил Перемышль. Епископ Евлогий собирался посетить приобретенную епархию. Новые власти начали княжить и володеть. Галиция была объявлена неразрывной частью вотчины Рюриковичей. Тотчас последовало распоряжение выселить коренное еврейское население в пределы русской черты оседлости. Административный восторг усиливался по мере приближения к Карпатам. Фронт ширился.

Тыл тоже не дремал.

Государь принимал у себя в Зимнем депутатов Государственной думы, объединившихся в общем порыве перед лицом внешнего врага. Барин и помещик Родзянко произносил округлые речи в стиле первого боярина. Между царем

и населением, таким образом, средостение растаяло. Отныне экономическое и политическое развитие русского народа гарантировано. Война вызвана наглостью Германии. Вильгельм — злой демон русской свободы. Победа над тевтонами ведет к внутригосударственным реформам. Сначала победа, потом реформы. Власть уже вынуждена признать и узаконить деятельность прогрессивных организаций. Что такое Союз городов? Это, в будущем, сила общественности, обуздывающая самодержавие.

Так изложил мне текущие события присяжный поверенный Оконовицкий, хозяин квартиры, где я снимал комнату. Он был кадет и чтил Милюкова, главу партии. В Милюкове с эрудицией ученого соединялась прозорливость историка. Одним словом, это был идеал государственного деятеля и министра либерального строя.

— Вы понимаете, — поднимал торжественно руку, как оратор на трибуне, адвокат. — Если партия и Милюков складывают пока оружие, значит, такова мудрость политики в данный исторический момент.

Бритое удлиненное лицо юриста, с волосами, подстриженными ежиком, выражало полное удовольствие сказанным. Я ждал Ольгу Николаевну. Жена Оконовицкого была дама-патронесса и имела отношение к лазаретам для военнопленных.

— Это диктуется всецело общими задачами, стоящими перед государством, — продолжал хозяин. — Торговый договор с Германией 1904 года парализовал наше народное хозяйство. Нам нужны проливы и Константинополь. Сейчас не время ставить вопрос об ответственном кабинете министров, но воодушевление всех слоев населения должно убедить верховную власть в политической зрелости русского народа. Победа над врагом, которая неизбежна, приведет...

Послышалось шуршание шелка. Присяжный поверенный не успел указать, куда именно приведет победа над врагом. Разговор принял с появлением его жены другой оборот.

Давид Исидорович, хозяйничавший в своем магазинчике за прилавком с сметаной, с простоквашей, булочками, яйцами вкрутую и всмятку, придерживался иного мнения о победе

над врагом. Он не был юристом, и даже не был кадетом. Его способности и знания простирались лишь на простоквашу и птичьи потроха. Мир входил в него только через один правый глаз; левый был занят огромным бельмом, похожим на яичную скорлупу. Это помешало владельцу молочной быть мобилизованным, но не мешало твердости его взглядов.

— Немцы расколошматят-таки всех, — сказал он мне вечером, когда я поглощал свой скромный ужин. — От французской нации знаете, что останется? Один пух. Что? Вы не согласны?

— Не совсем, — ответил я.

Давид Исидорович положил мне на тарелку поджаренную трехкопеечную куриную печенку. Испорченный глаз его целился в меня, а здоровый пылал негодованием.

— Поверьте моему слову, как я еврей, что вы ошибаетесь. Из-за чего идет война, — этого ни я, ни вы не знаем. Но этот Вильгельм знает, что он делает. Русскую свинью еще будут бить, как хотят. Чего же вам еще надо? Наше правительство победит? — Его голос упал до пронзительного шопота. — Ну, нет. Война — это им не еврейский погромчик.

4

ДИСЦИПЛИНА-СКЛЕРОЗА

Внезапно прозвучало Сольдау.

Среди патриотического восторга от победы над австрийцами это слово не произвело вначале особенного впечатления. События в Восточной Пруссии казались заминкой, рядовой для батальных диверсий.

Но вскоре катастрофа стала известна во всей ужасающей последовательности. Уроки японской войны прошли бесследно для русского командования. Генералы были попрежнему бездарны. Гинденбург затянул бахвальствующих и спорящих между собой военоначальников в Мазурские болота, запер им выход и устроил бойню. Самсонов сам судил себя и среди грохота величайшего разгрома покончил с собой.

Сольдау явилось предвестником. В гигантской схватке народов это был всего только легкий шок, но он предупреждал о склерозе всей русской военной системы и о неизбежности дальнейших кровоизлияний.

Эпоха галицийских поражений подтвердила это. Затем последовала потеря польского плацдарма.

Один за другим происходили грандиозные апоплексические удары.

Я работал фельдшером в госпитале для раненых военнопленных. Больничная одежда обезличивает. Людей в бобриковых халатах можно было принять и за русских, и за болгар, и за немцев. Они все походили на крестьянских парней, особенно — небритые.

Им меняли повязки на руках и ногах. Чтобы отодрать присохшую к ране марлю, в дело обильно пускалась сиренево-бледная жидкость. Иод-бензин являлся самым популярным медикаментом. Когда раненый морщился, ему говорили:

— Ну, ничего. Сейчас отмочим иод-бензином.

Произносилось это точно заклинание. До сих пор к иод-бензину у меня сохранилось дружеское чувство.

Иногда на спине открывалась черно-багровая, точно выкусанная рана. Это была уже работа снарядного осколка.

Австрийцы, в общем, вели себя подобострастно. Вероятно, уже то, что они живы, представлялось им чудом. Поэтому возня и уход, которыми их одаряли, представлялись им небывалой милостью. Они извиняюще улыбались, благодарили и кланялись.

Среди них попадались венгерцы. Их узнавали по смуглым лицам, энергичным, крепким, цыганским. Они были сдержанны и малословны и, казалось, презирали нас.

В один и тот же час в перевязочную заходил чех, худой, нескладный человек. Больничное платье висело на нем как на вешалке. Нос его был странно перегнут, сначала шел по одной щеке, потом переходил на другую; над верхней губой тщедушно проросли волосы пегого цвета. Он успел уже выучиться нескольким русским словам и был необычайно, до угодливости, почтителен.

— Шпасибо, — говорил он всякую минуту. — За мои здорови шпасибо.

У него имелось большое рваное ранение правого плеча. Дикое мясо лезло со всех грануляций. Когда Яниис жег их, он морщился, вздыхал, но благодарил.

— У вас, Годраш, семья есть? — спросил я как-то. — Жена, дети?

Он поднял голову. Нездоровой влажностью отсвечивали глаза, веки были красноваты. Кашель затяжно свистел в его бронхах.

Он кивнул головой и слабо улыбнулся:

— О, конешни, ошень есть. Шпасибо.

Потом, уже много дней спустя, я узнал, что на родине у него остались жена и трое детей и что по профессии он башмачник.

— Однажды мы выходили вместе из перевязочной, так как раздавали обед и наступил перерыв.

— Зачем вы воевать пошли? — спросил я.

Искривленный нос его пришел в движение. Он хихикнул.

— Русська молодша, — сказал он. — Я не хотель войвать. Я хотель делать этой, — он остановился, поднял стопу и показал на трубую больничную обувь. — Я понималь, что этот война ни нужная. Зачем Яниш войвать? Кому стрийлять? У Яниш нет чиво отнимайт. Яниш тоже никому ни хочет отнимай. Но меня даваль ружье и приказаль: «Яниш Годраш, иди!»

В гортани его захлюпало, ноздри втянули воздух, он долго откашливался.

Однажды в госпитале с раннего утра началось оживление. Старший врач, старик с красиво седеющей бородкой, заглядывал во все закоулки помещения. Палаты чистились. Пленным меняли наиболее худые халаты. Часам к десяти в коридорах с карболовыми и бензиновыми испарениями расцвели розы, сирень, ландыш, резеда, принесенные вместе с шумом платьев.

Дамы-патронессы, нарядные, хлопотливые, шуршащие,

засматривали в двери; лица их были пунцовые от волнения и ожидания.

Наконец приехал генерал. За ним волочился хвост провожающих.

Шеренги людей с повязками, на костылях, выстроились у кроватей.

— Прошу поддерживать дисциплину, — повторял генерал старшему врачу после обхода каждой палаты. — Прошу помнить — это солдаты, хоть и враги. Дисциплина — всегда и везде!

Он засовывал пальцы за пояс, его длинные усы метались по твердому воротнику френча. Круглая, большая, желтая, как кошачий глаз, медаль тускло сияла на его груди. С чем бы к нему ни обращались, он неизбежно твердил о дисциплине. Мир ему, очевидно, представлялся плацпарадом.

— Ваше превосходительство, — доложил ему главный врач возле кладовой. — Больные прибывают в очень грязном виде, и их одежда в санитарном отношении чрезвычайно опасна. Она — рассадник насекомых. Я уже подавал докладную записку о необходимости устройства дезинфекционной камеры при госпитале. Теперь, пользуясь случаем, ваше превосходительство, я позволю себе просить ускорить разрешение этого вопроса.

Усы генерала шевельнулись.

— Это что ж, непорядок? — поморщился он. — За грязь — взыскание! Подтягивать их надо! Дисциплина — всегда и везде!

Ян Годраш стоял около своей койки. Рука на перевязи оттопырилась далеко вперед, сам он сгибался, как будто в пояснице что-то мешало ему выпрямиться.

Приступ кашля ударил его. Он закашлял головой, разбрызгивая мокроту. Генерал проходил мимо. Брызги кашля усеяли его лицо и воротник.

Старческая розоватость щек генерала сделалась кирпичной. Он остановился как бы в недоумении, потом сделал шаг назад. Его пальцы стремительно подтянули пояс. Зрачки светлых глаз сверкали, и верхняя губа приподнялась.

— Под арест! — закричал он. — Ты где стоишь? Перед кем? Распущенности не потерплю!

Яныш плохо понимал генерала, давился кашлем и испуганно смотрел на взъерошившегося старика.

Старший врач негромко сказал генералу:

— Я уже писал, ваше превосходительство, о переводе. Его надо поместить в туберкулезную больницу.

Генерал задвигал бровями.

— Все равно, — сердито отрезал он. — Дисциплина — всегда и везде! Дисциплину нельзя нарушать. На двое суток под арест! При лазарете!

Он приказывал отрывисто, точно лаял.

Когда я рассказал Глябину про генерала и про свои разговоры с Годраном, он заметил:

— Замечательный генерал, прямо из Салтыкова-Щедрина. И такие вот распоряжаются миллионами жизней! Но у этого бедняги-чеха настоящее чутье; он сознает, что не враг сидит в окопах.

— Ну, знаешь, — насмешливо возразил я. — Такое чутье приходит, очевидно, тогда, когда попадают в плен.

Нас окружал стеклянный мирок лаборатории клиники. Вытянутые колбы, коленчатые трубки, разноцветные пробирки, флаконы покорно ждали на полках. Глябин, придвинувшись вплотную своим утрамбованным телом к столу, вертел над спиртовкой препарат, облизываемый сиреневой струйкой пламени.

— Тебе, вероятно, кажется, — сказал он, не отводя глаз от стекла, — что массы охвачены воодушевлением. Это — ошибка. Кой-кому война, конечно, на руку. Но вот в Петербурге, в день мобилизации запасных, бастовало свыше двадцати фабрик и заводов в виде протеста против войны. Социальные противоречия ничем нельзя замазать, кто понимает. Когда этих рабочих оденут в шинели, они скажут то же самое, что сказал твой пленный. Для них враг не сидит в окопах.

— Ты хочешь сказать, что враг это не германские солдаты, а Вильгельм, их мобилизующий?

— Нет, я этого не хочу сказать, — возразил он. — Враг, са-

мый главный, не Вильгельм или царь, а то, что ими управляет.

— Управляет Вильгельмом? — удивился я.

— Да. Им управляет социальный порядок.

Мне вспомнились его слова на Владимирской горке. Я воспользовался разговорчивостью Глябина, обычно не склонного к этому, и сказал:

— Мне спорить с тобой нельзя, я плохо в этом разбираюсь. Но объясни мне следующее. Австрия предъявила Сербии требование о компенсациях за убийство главы государства. Это вопрос охраны суверенитета. Другие государства, связанные союзами с обеими сторонами, вмешались. При этом Германия напала на Бельгию, неприкосновенность которой была гарантирована Англией. Отсюда еще одна причина войны. А ты недавно сказал, что война идет из-за рынков. Теперь ты говоришь, что дело в социальном порядке. Что это значит?

Глябин придвинул микроскоп. Его крепкие пальцы ловко управляли крохотными винтиками. Он ответил, точно читал лекцию:

— Рынки и социальный порядок — это именно так. Неужели ты думаешь, что весь мир пришел в движение по личной воле Вильгельма или Николая и, не захоти они этого, все осталось бы спокойным? Так думать можно было только во время какого-нибудь Людовика XIV. Теперь мы знаем, что современное государство представляет собой капиталистическую систему производства. Промышленность же больше производит в каждом государстве, чем потребляется на месте. Излишний товар надо сбывать, то есть вывозить. Если не вывозить, значит, надо сокращать производство; другими словами — ограничивать барыши, что противоречит сути капитализма, — и создавать кроме того безработицу. А безработица, с одной стороны, уменьшает покупательную способность населения, а с другой — создает голодную массу, которая захочет делать революцию. Но куда же вывозить? Не в государства же, имеющие собственную промышленность? Значит, в колонии. Кроме того колонии есть источник сырья. Словом, чем больше колоний имеет страна,

тем она лучше обеспечивает барыши своих капиталистов. А число колоний не беспредельно. Драка из-за них должна быть. Ясно?

Я подумал и сказал:

— Нет, неясно.

Мои возражения свелись к тому, что немцы и без войны проникли всюду и даже в самом Лондоне трудно было купить вещицу без марки «Made in Germany». Спрашивается, зачем же Германии воевать для расширения рынков сбыта, когда ее торговля и так превосходна и могла бы развиваться спокойно и без помощи пушек?

Глябин, возясь с микроскопом, усмехнулся.

— Допустим, ты прав, — сказал он. — Но что же из этого? Если Германия хорошо торгует, значит, плохо торгует Англия. Если Германии не нужна война, значит, эта война нужна Англии.

— Прости, — сказал я, — тогда где же здесь логика? Если Англии нужно было воевать, то почему же войну начала Германия? Ты что-то путаешь.

— Ничуть. Это мы пишем, что Германия объявила войну, а немцы вероятно пишут, что Россия первая начала войну. Правды теперь, кто понимает, не узнаешь. Вот когда потасовка кончится, тогда только истина и обнаружится. Впрочем, от того, кто первый сказал «э», суть не меняется. Вот этот самый Годраш в дипломатии не разбирается, но у него есть чутье. Оно подсказывает ему, что среди целей этой войны меньше всего места занимает его благо, как и благо миллионов ему подобных.

Я однако не хотел сдаваться.

— Но почему же, — сказал я, — война возникает не тогда, когда кто-нибудь захватывает колонии? Почему теперешняя война была вызвана определенными причинами: нападением на Сербию и Бельгию? Ведь проще было для той же Германии объявить, что она воюет, защищая свою мировую торговлю.

Глябин откровенно рассмеялся.

— Проще? Ну, навряд ли. Знаешь, огласить всенародно, что массы должны лезть в огонь ради прибыли капитали-

стов, — для этого надо быть идиотом. Кто пошел бы тогда сражаться? Защита суверенитета — это не причина войны, это, кто понимает, вполне приличная и прекрасно действующая на воображение обывателя ширма. Нет, тут без агитации нельзя.

В январе я оставил службу. Надо было серьезно готовиться к окончанию факультета. Ходили слухи, что наш курс весной будет выпущен.

Весь досуг свой от занятий я проводил в хирургической клинике профессора Волковича.

5

ПОЛУФАБРИКАТ ВСТУПАЕТ В МИРОВУЮ ВОЙНУ

В столовую вошел Оконовицкий, без пиджака; воротничок и манжеты его ослепительно белели.

— Читали про бюджетную комиссию? — спросил меня победоносным тоном хозяин, разыскивая что-то в комнате. — Общественное мнение предъявляет свои права.

Я ничего не понял.

— Какие права?

Постукивая пальцами по крышке найденного наконец портсигара, он рассказал, что при обсуждении бюджета член Государственной думы Ковалевский внес предложение довести до сведения Совета министров пожелание о том, чтобы правительством при заключении мира был принят во внимание и голос общественного мнения.

— Прогрессивные силы страны заявляют о своих правах, — закончил адвокат. — Как видите, за гражданский мир во время войны будет правительством уплачено. Теперь уже недостаточно обещания бумажных свобод, нет! Ответственный кабинет — вот компенсация нашего участия в победе. Конституционалисты-демократы на меньшее не пойдут... конечно, на другой день после окончания победоносной войны, — добавил он, опуская портсигар в карман.

Вид этого самодовольного человека вызывал раздражение.

— На другой день после окончания войны? — переспросил я уже у порога. — Боюсь, что на другой день после окончания войны с вами не станут разговаривать.

Я так, признаться, не думал, — вернее, не задумывался о том, что произойдет на другой день, но это было первое, что подвернулось на язык.

— Ну, этого мы им не позволим, — крикнул мне вдогонку присяжный поверенный. — Руки коротки!

Я уже натягивал пальто, когда ко мне постучались и в комнату вошел солдат.

Длинная, широкая в плечах, сутулая фигура показалась знакомой.

— Здравствуй, — точно продолжая разговор, сказал вошедший голосом Самоши. — Ты, кажется, спешишь? Я тебя не надолго задержу.

Шинель вольноопределяющегося, почти касавшаяся пола, очень опрощала его.

— Да, доброволец, — сказал мне Самоша. — Почему? Сам не знаю. — Он поморщился. — Только не патриотизм. Мне скучно, вот, пожалуй, основная причина. — Он стянул свои бритые губы в холодную, брезгливую гримасу. — Мой отец уже не знает, куда девать свои капиталы и хочет купить Корбинский завод. Помнишь, возле Верхнеднепровска? Я сам просадил уйму денег, мне все надоело. Захотелось новых впечатлений. Девочки кланяются тебе, — сказал он тем же ровным тоном.

Я начал расспрашивать о сестрах, как они там жили после меня и что теперь делают. Он говорил сухо, и совсем непонятно было, — зачем этот человек отправляется по своему желанию навстречу тяжелым испытаниям.

Потом я пошел на лекции в военный госпиталь.

Здесь царило необычное оживление, вызванное каким-то происшествием. События развернулись до моего появления, и Левин, длинноногий, очень предупредительный сокурсник, посвятил меня в подробности. Оказалось, что доцент Гинце, плотный человек, с бачками и шелковистым ежиком, читавший нам военно-полевую хирургию, ударил солдата по щеке, а вступившегося студента обозвал жидом.

Перебивая друг друга, стоя на скамьях аудитории, мы наполняли огромное помещение гамом и криками. Вносились предложения. Председатель, помощник старосты, желтоватый грузин с выступающей вперед челюстью и с блеском чахоточного в глазах, размахивал руками и призывал к порядку. Наконец стало тише. Ораторы выходили на кафедру и разряжались пламенными, бестолковыми тирадами. Наиболее кровожадную речь произнес сам председатель.

Служитель, солдат, открывал двери и опасливо заглядывал в комнату. Этот шум и галдеж, оглушавшие стены военного учреждения, ему внушали бесспорную тревогу. С минуты на минуту должен был появиться лектор.

Под конец пафос выступающих начал спадать. Вышел студент с покатым лбом и тонкими просвечивающими висками, с прямой негнувшейся талией, похожий, в туго застегнутой на все пуговицы тужурке, на судебного кандидата; он принялся лить примирительный елей на еще бушевавшие страсти.

— ...В дни войны, когда родина напрягает усилия... Враг у ворот... Отдельные факты не должны затемнять... В конце концов, может быть это раздуто... Надо выяснить, что послужило причиной... Срывать занятия, когда до выпуска остались считанные недели... Основной предмет, читаемый в данное время... Конечно, осудить следует, но все должно ограничиться пока резолюцией...

Аудитория ворчала, но слушала. Глябин спустился с верхней скамьи своей мерной походкой, и, как только глашатай мира умолк, он занял его место. Речь тянулась не долго, в ней не было обычных ссылок на попираемое человеческое достоинство.

— ...Мы знаем, что одним своим сегодняшним решением, даже самым радикальным, не удастся уничтожить того порядка вещей, при котором простой человек, из масс, рабочий или крестьянин, не считается за человека. Но наше выступление имеет агитационное значение. Оно покажет, кому надо, что в нас протестует гражданское чувство, что мы не перестанем бороться с рабством, с угнетением сильными слабых, в какой бы форме это ни проявлялось. Мы должны

поддерживать и воспитывать в нас самих при всех условиях дух социальной борьбы, мы должны быть примером для более молодых товарищей в деле организации выступлений. На выпад реакционных представителей науки может быть только один ответ: убрать Гинце! А до удовлетворения этого — бойкот.

Курс разошелся перед самым носом появившегося доцента. Его серебряные погоны коллежского советника одиноко светили в пустой аудитории.

Потом мы узнали, что Глябина арестовали, но через три дня выпустили. Среди студентов оказался шпион. Когда пришла революция 17 года, тайники охранки, распечатанные Февральским переворотом, выдали его. Это был студент Мачавариани, помощник нашего старосты.

Вечером у Оконовицкого состоялся домашний раут; съехались гости. Я был приглашен; очевидно мое участие выражало демократические тенденции хозяина. Присутствовавшие составили немноточисленное, но хорошо подобранное общество. Мужчины были солидны, женщины — большей частью — молоды и красивы. Раскрыли широко двери и соединили две смежные комнаты в один большой зал. Подали ужин, стало шумно, все говорили охотно, шутили, улыбались.

Рядом со мной очутился юноша с чрезвычайно густыми волнистыми кудрями, отброшенными назад, щеки его были сизыми от тщательного бритья. Платье, обнаруживавшее вкус дорогого портного, сидело на нем элегантно; он ничем, кроме молодости, не отличался от остальных мужчин. Мы обменялись самыми пустыми вопросами; он оказался студентом юридического факультета. Все в этой зале были ему известны.

После первого блюда поднялся, держа в руке бокал, седоватый человек с розовыми щеками; все зашикали, призывая к тишине.

— Господа, — начал он. — Мы живем в великое время. Все лучшие люди, все, что есть культурного и передового среди широчайших слоев русской мыслящей интеллигенции, охвачены единым порывом. Мы верим, что Россия выйдет из су-

рового испытания не только обновленной, как из жертвенного огня, но и возрожденной к лучшей жизни. Свобода, демократические принципы, избирательное право, свобода слова придут вместе с победой над врагом. Конституционалисты-демократы, поставившие своим знаменем создание европейского парламентаризма в полусамодержавной России...

Мой сосед сказал с нескрываемым восхищением:

— Это Чудновский, крупнейший адвокат по гражданским делам! Недавно он Бродскому выиграл дело, от которого сам Бродский уже почти отказался. Гонорар — сорок тысяч. Одним ударом. Золотая голова!

После аплодисментов снова ели и пили и говорили.

— Это директор второго общества взаимного кредита. Владелец мельницы, — пояснил мне студент, а потом, при следующем выступлении:

— Приготовьтесь слушать, встал член киевского комитета ка-де, Вольфсон. Замечательно говорит. Адвокат по уголовным. Помните дело Котова? Это он провел оправдание.

Когда в конце стола над тарелками, бутылками, бокалами вырос пожилой брюнет с холодным бритым лицом и широко вырезанными ноздрями, наступила почтительная тишина.

— Теперь вы получите настоящее эстетическое удовольствие, — шепнул мне юноша. — Венгловский взял слово.

Венгловский? Венгловский? Фамилия была мне незнакома. Речь его текла гладко, с паузами, с придыханиями, с подъемом, как у хорошего актера. Он говорил о том, что партия должна опираться на культурные массы и на наиболее культурные группы рабочих. Нужно добиваться введения в комитеты по обороне государственно-мыслящих представителей от рабочих. Надо учить рабочего действовать европейскими цивилизованными методами, а не отдавать его во власть безответственных агитаторов, зовущих к разрушению всех устоев современного общества. Не надо забывать, что рабочая масса — это стихия, которая может выйти из повиновения и разлиться анархическим океаном. Не надо забывать уроков тысяча девятьсот пятого года. Партия, осуществляя идеалы лучших людей, не может не стремиться к подчинению своему благотворному влиянию народных масс. Конечно, прежде

всего — военные нужды. Страна требует новых заводов для снаряжения армий. Конечно, война пока отводит в сторону реформы фабрично-заводского управления, внедрение фабрично-заводской инспектуры, прогресс в охране труда, организацию страховых касс с равным участием в них предпринимателей и рабочих. Конечно, разрешение аграрного вопроса на основе справедливого частичного отчуждения, компенсированного государством, также сейчас не может быть произведено. Но завершение войны решительным успехом на поле брани поставит на очередь все эти проблемы. Государственная дума, добившись ответственного министерства, внесет в теперешнее законодательство свои поправки. Господа, я поднимаю бокал...

Аплодисменты заглушили последние слова; женские голоса тонули в дружном басистом гуле одобрения мужчин.

— Миллионер, пароходовладелец, — сказал, захлебываясь, сосед. — Его считают левым, почти революционером.

Через пять-шесть дней наша группа дежурила в акушерской клинике. Мы ждали родов. Несколько женщин поступило в отделение еще с утра. В студенческой комнате горело электричество под белым молочным абажуром. Запах аптеки, просачивавшийся отовсюду, был приторен, но приятен. Глябин читал книгу. В халате он выглядел необыкновенно чистым, точно из бани. Другие играли в шахматы. Левин тихо напевал, лежа на кожаной кушетке. Я сидел возле шахматистов и дремал. За стеной отдавались мягкие шаги сиделок. В окна виднелся университетский сад, черные деревья были неподвижны.

Где-то близко захлопали двери. Кто-то пробежал по коридору.

— Кажется, нам повезло, — сказал Левин, переставая напевать. Он поднялся и направился к дверям. — Уже начинается.

— Скажут, когда начнется, — успокоил его один из шахматистов. — Я пять раз бегал — и ничего. Все ложная тревога. За нами пришлют, я условился с Дашей.

Даша была сиделка из родилки.

Левин подошел к шахматистам.

— Мат! — сказал один из игравших. — Ты, брат, пиалея. Этого хода я давно ждал.

— Наше ожидание здесь и бои на Сане, — сказал мне Левин, вытягивая свою тонкую шею, — это пикантный анекдот. Вы не находите?

— Чем же? — пробормотал я, борясь с сонливостью.

— Макензен разносит русских. Мы отступаем, — понятно, на заранее подготовленные позиции. Каждый день это означает тысячи убитых и десятки тысяч раненых. Солдат дергает запал — и дюжина людей уничтожена в секунду. А здесь мобилизовано целое учреждение, чтобы помочь родиться одному человеку, который — еще неизвестно — выживет ли. Разве это не анекдот?

Глябин отодвинул книгу.

— Какие ты наивные вещи говоришь, Левин, — сказал он негромко. — Лучше бы ты пожелал тому, кто сейчас появится на свет, увидеть в нашем возрасте землю совсем другой.

Левин принялся возражать:

— Но ты забываешь, сколько крови прольется до того времени.

Глябин пожал крепкими плечами.

— Что ж из этого? Кровь эта, кто понимает, будет оплачена. А затем, количество жизней, убиваемых условиями существования низов, в итоге не меньше, чем количество гибнущих от пуль и пушек. Отчего же это тебя не приводит в ужас?

Кто-то закричал за стеной далеко, глухо. Потом мы услышали топот ног в туфлях. Дверь открылась, и сиделка, немолодая, озабоченная, на ходу крикнула, убегая, с грубоватой фамильярностью:

— Чего расселись? Идите скорей, а то прозеваете.

Поздно ночью мы, кончив дежурство, шли домой. Снег был перерезан тенями деревьев и домов. Посиневшая луна, как пузырь, качалась в небе. Точно ударяя о землю одной гигантской ногой, как бы бухая свайной бабой, прошла в темноте мимо нас рота. Я сказал Глябину при расставании:

— Вот ты говорил мне недавно, Яков, то, что ты думаешь о войне. А как по-твоему, что думают о ней эти вот солдаты?

Козырек фуражки чернил его глаза и нос. Он поднял го-

лову. Лицо его, круглое, плотное, спокойное, облилось бледным ночным светом.

— Я не знаю, что они сейчас думают, — медленно проговорил он. — Забить им мозги можно было. Но классовое чутье заставит их думать безошибочно. Однажды солдаты уже высказались, — ты помнишь волну солдатских восстаний вскоре после японской войны? Каким языком будут сейчас говорить солдаты, — предсказать с точностью трудно. Но я думаю, что мысли солдат в настоящее время о войне очень поучительны.

Через два месяца нас всех призвали в армию зауряд-врачами.

6

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

В начале шестнадцатого года я был военным врачом, ординатором белоцерковского заразного госпиталя.

В местечке копошилось десять тысяч еврейской бедноты.

Река Рось бежала между хилыми, тщедушными домишками. Около моста выпирало в небо кирпичное здание. Чудовищный мундштук трубы пыхтел день и ночь. Здание было мельницей, и владелец ее считался местным королем муки.

Как и полагалось, при нищем местечке раскинулся изумительный парк, взлелеянный прихотью магнатов. Деревья в нем насчитывали не одну сотню лет. Парк принадлежал графине Браницкой. Аптека в местечке называлась так — «Браницкая аптека». Вся земля местечка тоже была собственностью графини. Сама она жила здесь же, во дворце рядом с парком. Поверх деревьев виднелись ряд окон и изломанные плоскости фиолетовых крыш.

Иногда, в воскресенье, по главной улице проезжала карета цугом, с ливрейным лакеем при кучере. В глубине сидения покачивалась старушка с остроносым лицом и надменным невидящим взглядом. Встречные снимали шапки, кланялись облаку пыли и щелканью бича. Сиятельная владелица

Белой Церкви, набожная, скупая, покидала дом только для посещения костела.

Госпитальные бараки стояли за железной дорогой. Они вытянулись в длинный двойной ряд у насыпи свежепроложенной ветки, широкие дорожки между ними были акуратно вымечены. Черные толевые крыши острыми углами седлали фанерчатые стены и доходили почти до земли.

Последний день моей работы здесь совпал с моим дежурством. После второго вечернего обхода я прилег в ординаторской.

Меня разбудил стук. Лампочка горела на столике. В дверь просунулся солдат. Я с трудом оторвался от подушки.

— Телефонограмма, васкородие, — сказал сочувственно солдат и протянул бумагу. — А поезд уже прибывши.

Синеватый листок телефонограммы, говоривший голосом войны, было полон цифр, наименований, перечислений.

На дворе вздохи паровоза, похожие на усталое рыканье зверя, изредка разгоняли тишину.

Поезд пришел без звонков и свистков. Фонарики санитаров прошивали темноту голубоватой ночи. На горе за парком возносился двурогий профиль костела. Вокруг вагонов двигались носилки.

Потом на меня набежала сестра.

— Доктор, идите, пожалуйста, в сортировочную, — озабоченно сказала она. — Сейчас по баракам начнут разносить.

Всего прибыло 259 человек. Позавчера было 205, еще нескольких дней назад — 240.

Воздух посветлел, я вернулся в ординаторскую и снова прилег. Утром главный врач выслушал мой рапорт.

— Сегодня в приказе есть о вас, — остановил он меня, когда я собрался уходить. — Зайдите в канцелярию за предписанием... — он вдруг запнулся. — Вы переводитесь на Кавказский фронт.

Кавказский фронт — это был фронт голода, тифов и смерти. Оттуда доползали слухи о бездорожьи, громадных расстояниях, фантастическом взяточничестве и воровстве среди снабженческого начальства, обрекавшего армию на ли-

шения и эпидемии. Этот фронт был ненасытен. Героические дела его, воспеваемые на все лады газетами, оплачивались ценой неисчислимых жертв. Нам, врагам, кое-что было известно хотя бы потому, что время от времени наших товарищей как бы выдувало из лечебных учреждений Юго-Запада, а потом от них, от тех, из которых многие уже никогда не вернулись, приходили издалека письма со странными названиями и именами, непривычными для уха. Дикие ветры пустынь и ущелий обвевали их. Между строк можно было прочитать об отчаянии и тоске этих людей.

Теперь, значит, наступил мой черед.

Выслушав главного врача, я поднес руку к фуражке и деревянным шагом вышел.

7

НА ПУТИ КОНТР-ПЛАНА

Эрзерум пал зимой. Вскоре черноморский флот обстрелял Трапезунд, и десант занял город.

Снега таяли, дул теплый ветер, земля чернела и дышала паром. Весна подстегнула боевые операции.

Впрочем, дело было не только в весне. Англичан беспокоил Суэц, марш русских в глубь Анатолии признавался лучшим отвлекающим средством от канала. Эрзерум был хорошо поставленным горчичником к лопаткам Энвер-паши. Тот действительно забеспокоился и ослабил подготовку вторжения в Египет.

За первым ударом последовали другие. О фортах Мамахатуна слава была не хуже эрзерумских. Крепость, однако, взяли без особых хлопот и пошли дальше. Передовые части докатывались уже до Байбурта, горного узла, выросшего на важнейшей шоссейной магистрали. Разведка ощупывала Эрзинджан, в горах Мерджан-Дага. Чудовищным полукругом наползали русские армии на древнюю землю Востока, стремясь дотянуться тяжелой лапой к берегам Понта.

Лобовой отпор мог бы разомкнуть железные клещи над османским куском, но для этого потребовались бы невероят-

ные силы и средства. Каждая пядь земли была бы залита кровью.

Тогда Энвер-паша разработал смелый план. Он хотел ударить по гигантской дуге, тянувшейся от Саракамыша к Трапезунду, и, прорвав ее, выйти в тыл врагу. Разрыв коммуникации оставил бы русских без питания, без боевых припасов, без базы. Одним словом, нужно было повторить знаменитый марш к Саракамышу, когда турки вынырнули из горных проходов, где их никто не ждал, и войска, осаждавшие Эрзерум, едва не оказались отрезанными от России. Было соблазнительно разыграть тот же спектакль, только в более крупном масштабе. Успех затеи требовал, конечно, полной тайны.

Началась переброска. Отовсюду, из сасунских долин, от Диаберкира, Чивтлика, Хазата, из глубины анатолийских провинций двигались части прямо на север, к перевалам и цепям горных массивов Тавра. Люди и лошади цеплялись за скалы. По первобытным тропинкам тянули артиллерию. Турки готовились свалиться на противника как снег на голову. Разведка русского командования успела однако своевременно сделать тайное явным.

Контр-маневр наметился просто.

Было решено бросить несколько десятков тысяч солдат навстречу туркам. Колоннам аскеров предстояло попасть под удар, прежде чем они успели бы сосредоточиться. Встреча намечалась на тех высотах, которые считались турками непроходимыми и пустынными. При удаче предвиделся спуск в Месопотамскую долину и, может быть, соединение с англичанами.

Для этой операции штаб армии выкраивал новые формирования.

В Тифлисе я получил назначение в лазарет 5-й стрелковой дивизии. Дивизия только что создалась и имела направление на Эрзерум.

Когда мы после долгого марша прибыли в эту только что завоеванную крепость, выяснилось, что наша часть уже влита в экспедиционный корпус. Был, очевидно, тот момент, когда обнаружилась диверсия турок.

Город лежал за толстой стеной, стискивавшей его каменным корсетом. Калагассанские ворота, гулкие и мрачные, как подземелье, пропустили нас. Дома тесно жались друг к другу. Над плоскими крышами поднимались верхушки тополей. Пыль неслась над ними. На перекрестках высились городовые, грудастые, внушительные, поразительно молодецкой выправки. Это были чины варшавской полиции, которую, очевидно, некуда было деть после сдачи Варшавы. В их блеске проступало смущение, будто они сами чувствовали неловкость своего великолепия в этих грязных кривых уличках.

Мы въехали в древнюю цитадель, царившую над городом, и заняли помещение кадетского корпуса.

Пришел приказ лазарету развернуться, и через два дня появились больные. Прежде всего прибыли четыре офицера. Это были венерики. Одного терзала гонорея, остальные заполучили сифилис. С ними возился главный врач, по своей земской закваске имевшей опыт по всем специальностям. Офицеры смеялись, капризничали, ели, спали, как ни в чем не бывало.

Вслед за ними прибыли нижние чины, человек десять, с различными внутренними недомоганиями. У одного бедро разнесло рожистой флегмоной. Это представлялось уже более интересным, и врачи накинулись на него.

А раненых не было.

Наступил Байрам.

Эрзерум спал под цитаделью. Звезды, как маленькие луны, низко спускались над черными тополями. В команде играла гармоника, доносилась русская песня, и могло казаться, что догорает заря и далеко в поле бредут крестьяне. Мои коллеги сидели тут же в садике, за столом, и о чем-то лениво переговаривались.

Вдруг в ночном безмолвии кто-то закричал, страстно и исступленно. Это могло быть призывом о помощи, жалобой, отчаянием. Звук несся вверх и раздирал тишину.

Как бы устав от собственной напряженности, голос вытянул пронзительную ноту и стал, модулируя, замирать. В ту же секунду где-то поднялся такой же острый крик. Он как бы подхватывал слабеющий вопль и старался влить в него

неукротимость. Тотчас в разных точках ночи отозвался третий голос, четвертый, пятый... И вдруг весь зеленовато-голубой сумрак, упавший на землю, забился в истерике, экзальтированной и нестерпимой.

У магометан начался праздник. Эта ночь была первой ночью молитв. На минаретах пели муэдзины.

Азия, настоящая Азия Багдада, Дамаска, Азия Тысячи Одной Ночи, вставала вокруг меня.

Через пять дней пришел новый приказ. Лазарет сворачивался.

Больных сдали эвакуационному пункту, а мы двинулись в поход.

На площади Али камень у источника благословил наши шати суннами из главы Корана для прохожих. Рыжие кошки с пушистыми хвостами сидели на крышах предместья. Дорога шла через Харпутские ворота.

Проезжая под нависшими, как туннель, сводами, я вспомнил рассказ из византийской истории Диля об Александре Комнене. Именно через эти ворота родовитый авантюрист и красавец, Казанова XI века, увозил похищенную им принцессу в глубь Востока.

Впрочем, вскоре первые же впечатления развеяли аромат давних поверий. Слишком современный пейзаж вступал в свои права.

В версте или двух от городских стен парапет ноздреватой бетонированной площадки был всажен в землю. Орудия, с невинной акуратностью игрушек, вытягивали стальные хоботы. Часовой равнодушно смотрел на нас. Через некоторое расстояние расположилась такая же артиллерийская площадка. Крепость выставляла свои клыки.

Спустя три дня открылся Бингель-Даг, дикий и запутанный. Глубокие пропасти взрывали его черное туловище, заросшее лесом и забитое скалами. Первый перевал разлегся мастодонтом на десятки верст. Между его ребрами, в оврагах, валялись кости животных и остовы телег.

Обоз медленно, с натугой, переполз через этот хребет.

Потом началась равнина, плоская, голая. Телеграфные столбы вышли из ущелий и провожали нас. В одном месте,

в стороне, галдели и вились птицы. Вслед за Милевским я свернул с дороги и подъехал к трупу.

С доктором Милевским меня надолго соединил носильщик тифлисского вокзала. Я и пассажир из соседнего купе, плотный человечек в военной шинели, оба замешкавшиеся со своим багажом, накинулись на него. Это был обладатель единственных свободных рук возле поезда, и мы, каждый из своего окна, будто не замечая друг друга, взывали к нему. Компромисс нас примирил. Горбоносый человек с белым фартуком и бляхой взял сразу и мой чемодан и вещи соседа. Затем мы сели на одного извозчика, так как выяснилось, что обоим нам нужна гостиница.

— Как меня зовут? — ответил он на мой вопрос. — Как могут звать еврея? Мое имя — Наум Абрамович. Вы тоже приехали за назначением? Да, представьте, и я.

И он очень грустно вздохнул сквозь улыбку. У него были нелады с сердцем, и переброска на Кавказский фронт из Бессарабии представлялась ему несправедливостью.

На другой день мы встретились в коридоре как давние знакомые и, явившись вместе к военно-санитарному инспектору, попали в один приказ. Сейчас он на ушастой лошади трусил рядом со мной, направляясь к мертвецу.

Раздутое тело курда с черным лицом смотрело вверх красными глазницами. Его откуда-то везли, недовезли и застрелили.

Среди команды рассказывали, что это был шпион, захваченный в тот момент, когда он сигнализировал дымом костра.

Через каждые двадцать пять-тридцать верст попадалось селение. Как мираж проплыла в стороне чистенькая деревня Бармахсис.

Главные массы войск шли где-то в горах, обходя нас. Турки были еще далеко, а курдов, как говорили, уже прогнали.

Ночью на далеких высотах горели огни. Передавали, что так лазутчики обозначают следы русского наступления.

Несколько раз мы обгоняли пехотные части. Однажды батарея, сея гром, промчалась мимо нас. Лошади упряжек мощно ударяли копытами о землю.

В Холтакском ущелье низвергался водопад. Издали он казался стеклянной ниточкой, спущенной из расселины, а вблизи брызгал пеной, ревел, бился о груды камней, блестевших, как дельфиньи спины. Это был водопад нарзана. Горячая вода, уже успокоенная, кипела и лопалась миллионами пузырьков. У Гассан-Кала крошечные гейзеры нефти били прямо из трещин почвы, не привлекая ничьего внимания. На всем протяжении холодные и горячие ключи необычайной чистоты и крепости вырывались из-под ног. Недра, алча, раскрывали свои богатства, приготовленные для человеческого счастья.

В Холтаке мы купались и целый день отдыхали.

Потом дорога задралась кверху.

Справа и слева валились на бок черно-синие и коричневые породы, застывшие в археолотическом сне. Невысокие вершины, в мелких складках, походили на слоновую кожу, изжеванную веками. Они поднимались всюду.

Вечерами тусклый пурпуровый отблеск невидимой зари стлался кругом. Здесь не было дорог. Земля, первозданная, ничем не тревожимая, казалось, только что возникла. Она как будто теплилась. Космический, без лучей, неуловимо красноватый свет заполнял этот доисторический мир.

Несколько дней пробивались мы через горы, вновь обступившие нас. Обрывы громоздились вдоль тропинок, едва проходимых для пешеходов. Лошади шли по ним, наезжая задними копытами на передние. Подводы нужно было подталкивать или хвататься за оси при спусках, чтобы груз не опрокинулся.

В Бакшее лазарету придали роту. Двести пятьдесят человек, привязав к колесам веревки, поднимали и спускали обоз.

Казалось, что мы уходим в страну, откуда нет возврата.

Команда уже не звенела гармоникой и песнями. Мужички из Владимирской, Костромской, Рязанской губерний только вздыхали.

Последний перегон был очень тяжел. Мы карабкались на огромной высоте, а под ногами в черных ущельях бушевала библейская река Евфрат, называемая здесь Кара-Су — Чер-

ная вода. Камни срывались и беззвучно исчезали, как будто никогда не достигая дна. Пропасть съедала шум падения.

Перед сумерками внезапно раскрылась, точно откуда-то упала, долина. Желтая лента безмолвной дороги вилась по ней. В плоских берегах, делая излучину, лежала река. В одном углу набросанная в странном беспорядке высилась груда щебня и камней: остатки жилищ жались к реке.

Когда обоз спустился вниз, главный врач, заведующий хозяйством и я подъехали к большому строению у края дороги.

Уцелевшее здание одиноко сторожило пустой покой долины.

Мы слезли с коней.

Это было селение Кизил-Чубук. Розоватый вереск подбирался к его развалинам.

Часть вторая

ШЕСТЬ БАЛЛОВ

1

НАСТУПЛЕНИЕ НА ЛИРИКУ

Улица пуста. Еще очень рано. Воздух неподвижен, и небо необычайно сине.

Койка главного врача, находящаяся против моей и доктора Милевского, давно уже пуста и акуратно прибрана. Режим моционов владеет этим человеком.

Стоя под расточительным солнцем утра, я соображаю, в какой стороне можно отыскать след начальства, чтобы получить разрешительную надпись для спирта. Над этой жидкостью, соблазнительной в наших условиях, введен, с общего согласия всех нас, врачей, строжайший контроль.

— Сегодня только обнаружено, господин доктор, — говорит Ельцов. — Вчера я осматривал, ничего не было видать.

Две щеточки рыжих волос подпирают троглодитовый лоб фельдшера.

Я хмурюсь, но смущаюсь сам и говорю, глядя мимо него:

— Нужно лучше следить за больными, Ельцов. Особенно за тяжелыми. А то всегда потом осложнения . . . Вам ведь самому хлопот прибавляется.

Он поднимает свою крепко упертую в плечи медвежью голову.

— Неужели, господин доктор, мне солдат чужее, чем кому другому. Мы с ним из одного теста, — медленно отвечает Ельцов. — Только при чем я, ежели они все прямо на голых досках, можно сказать. Это уж чья угодно вина, только не моя.

Настоящий военный затопал бы ногами и закричал: «Молчать! Не рассуждать!» В этом человеке есть спокойствие, уверенность, упрямство, заставляющие с ним считаться. Говорит он не спеша, низким, глухим, каким-то прочным голосом, и в его словах, в его ответах всегда как будто скрыт, помимо обычного, еще особый смысл.

В это время на серо-зеленом склоне холма показывается точка. Она растет, увеличивается. Наконец-то! Главный врач возвращается с прогулки.

— Подождите меня, — говорю я фельдшеру, словно ничего особенного не услышав, и иду по улице.

То, что носит название улицы, на самом деле колесная дорога, которая вьется среди руин селения и выкатывается к нашему зданию, единственному уцелевшему здесь. Иногда мы высокопарно именуем ее «шоссе», потому что она ползет откуда-то из гор, пересекает долину из края в край и уходит к холмам, черным, крутым, мрачным, запирающим выход из нашего становища.

Этой дорогой мы пришли, через нее движутся части, транспортеры.

Пыль, отсыревшая за ночь, лениво вспухает при каждом шаге и тотчас опускается. Лицо главного врача с остроконечной бородкой восторженно.

— Замечательная прогулка, — когда мы сходимся, сообщает он. — И какой день, а?

Его рука описывает круг лирическим жестом. День действительно прелестный. Далекие вершины голубоваты и воздушны и плывут по синему краю неба. Ущелье, стерегущее долину, заткано прозрачной дымкой.

Река Кара-Су, полноводная, стремительная, искрится серебряной чешуей.

— Подпишите, Василий Степанович, — говорю я, не соблазняясь этой красотой. — Очень спешно.

Рецепт переходит в его руки.

— Почему такая срочность? — спрашивает он и вертит в пальцах листок. — Можно было бы подождать.

— У Якушева начинаются пролежни, он истощал. Нужно немедленно принять меры, иначе ему не выкарабкаться...

Благостное выражение лица старичка тает. Его созерцательность разбивается. Он ворчит:

— Не вижу никакой срочности. Подумаешь, пролежень! Вы еще молоды, потому и волнуетесь. Привыкать надо.

Однако моя настойчивость действует.

— Прошу вас впредь придерживаться большего порядка в выписке требований, — произносит он, вытаскивая карандаш, и тон его становится официальным.

Мы подходим к плоскому бугру, за которым раскинуты гессенские палатки, наши больничные отделения. Белые шапки шатров нарядно выглядывают из-за песочно-зеленой земли.

Желтые щеки главного врача в морщинах, я отчетливо вижу короткие волоски на кончике его носа и светлый мох в завитке уха. Он не молод. Ему около шестидесяти. Это не кадровик, а бывший земский врач. Когда мы встретились в Тифлисе при формировании лазарета, он еще не умел говорить по-казенному. Теперь он сидит подолгу в канцелярии, ворошит листы приказов и сквозь сентиментальность, сквозь какую-то старческую размягченность в нем сильнее проступает жесткость.

То, что я еще молод, что я еще не оперился, что я проработаю год-другой и зовою иначе, — я слышу не впервые. Этим мне хотят объяснить, что страдания вокруг нас как бы закономерны, и все должно итти, как идет. Пожалуй, в этом даже есть какая-то правда. Если уж волноваться, так от того, что одни тысячи людей хладнокровно, с узаконенным спокойствием расстреливают такие же другие тысячи здоровых, крепких людей и превращают их в обрубки и трупы. Не все ли равно при этих условиях, что Якушеву позже или раньше на пятьдесят часов будет выписан спирт? Стоит ли это беспокойств, трепки нервов, ломки заведенного порядка!

Однако в то же время я знаю, что все это неправда. Если так рассуждать, то можно дойти до абсурда, до того, что следует предоставить выживать только наиболее здоровым. Чем отчаяннее состояние человека, чем он слабее и, следовательно, чем неотложнее для него забота и помощь,

тем бессердечное хладнокровие врача. Нет, это не только преступление этическое, это — несоблюдение даже простой служебной добросовестности.

Мы огибаем бугор, и теперь развороченные домики-ханы лежат перед нами как серые язвы землетрясения. Впереди простираются цветные поля трав и кустарников.

— У вас молодые глаза, — обращается ко мне главный врач. — Что это там такое?

Далеко по дороге катится темное облачко.

— Вероятно, обоз, — отвечаю я.

Это пугает главного врача. От его приподнятого настроения ничего уже не остается. Сухая, худенькая, крепкая фигура выражает теперь явное раздражение.

— Странное дело, — говорит он, — мы не резина, чтобы растягиваться до бесконечности. Если они привезут больных, это будет скандал. Нам их некуда класть. О чем они там думают?

Я тороплюсь к фельдшеру и оставляю главного врача, продолжающего ворчать.

В конце селения показываются лошади и около них люди в круглых войлочных шляпах. Колеса скрипят. Все это возникает из пыли.

Я не ошибся. Прибывает транспорт.

2

УВАЖАЙТЕ ОТЧЕТНОСТЬ

Голос путей и пространств — визжание осей — завоевывает воздух и изгоняет на время все другие звуки.

Из двери появляется человек на кривых ногах, доктор Тинченко. Два ярких пятна горят на выпуклости его скул, глаза мигают и щурятся. Он давно не брит, и щеки его, как шпуром, обведены сине-черной каймой.

— Как много, — говорит он негромко. — Куда мы их денем?

Повозки обдают нас пылью. Эти короткие ящики, поставленные на две палки и подпертые двумя колесами, — какая-то древняя, времен Вавилонии, конструкция, — назы-

ваются здесь осетинками. Они ползут через горы и пустыни, и с ними ползет мелодия, заунывная и однообразная. Поют ее смуглые люди, которые сидят на мешках и держат в руках кнут.

Груз этих арб до смешного мал, но они движутся по дорогам день и ночь, бесчисленные, как муравьи, и питают армию. На обратном пути от позиций их наполняют ранеными и больными. Таким образом они превращаются в санитарный транспорт.

— Мясо войны, — бормочет Тинченко. — Проклятая история никогда не кончится.

Он не в духе. Эти приступы хандры приносит ему почта, письма наполняют его глаза тоской, замыкают его рот. На конвертах, которые он получает, адрес выведен тонкими, неровными буквами.

Жена его осталась в Таганроге, одна после нескольких недель замужества.

Мы все знаем историю этого брака. Восемь лет, с гимназической скамьи, длилась их любовь, платоническая поневоле. Студентом он был беден; когда же диплом мог бы разбить этот период воздержания, пришла война. Наконец, осев в запасном госпитале и поверив, что это надолго, он решился. Но вскоре приказ, точный и непреклонный, вырвал его из тылового района на Дону и перебросил в Азию.

Около подвод происходит суета. Больные копошатся в ящиках. Те, кто полегче, слезают без посторонней помощи. Их шатает, как пьяных, от отвратительной тряски и от собственной слабости. Взгляд Тинченко скользит по прибывшим. В его глазах зажигается зависть, так как многих из этих скелетов ожидает отпуск. Около нас кто-то сильно и тупо стонет.

— Чорт возьми, у них вид не для парада, — снова бормочет Тинченко и идет к осетинке.

Внезапно он застывает. На вещевом мешке шевелится голова. Она обвязана несвежими бинтами, кровь спеклась с марлей в сплошную корку. Восковой прозрачности нос торчит над растерзанными усами. Рта не видно. У этого

солдата пулей разнесена челюсть. Он только стонет. Его речь состоит из мычания и жестов.

— Возьмите его, — ловит Тинченко санитаров, вяло топчащихся вокруг арб, — и отнесите ко мне. Пусть переложат кого-нибудь на солому, а ему дать койку.

Раненого снимают.

— Осторожнее! — кричит Тинченко. — Ведь это не мешок с картошкой.

Главный врач появляется уже в халате.

Пыль, пронизанная солнцем, укладывается на землю.

Подводы пустеют и отъезжают. Другие, еще не выгруженные, придвигаются ближе.

Тут вырастает среди нас Михин, проталкивающийся к главному врачу.

— Это безобразие! — кричит он сразу же на высокой ноте, и тонкий голос его становится писклявым. — Я их должен кормить, а приварок им уже выдан на руки. Вот их аттестаты, — трясет он кипой бумажек. — Что же мне прикажете делать? Под суд итти?

Он машет руками и ерошит волосы. Белокурые пряди взлетают, как светлые птицы, и опадают. В открытом вороте коричневая шея неожиданно вырастает из нежной белизны груди. На ногах у него сапоги великана, а гимнастерка не по росту мала. От этого его большая фигура похожа на конус, и ладони, высовывающиеся из рукавов, кажутся непомерно огромными.

— Что-нибудь придумайте, Сергей Сергеевич, — упрашивает его главный врач. — Ну, отпустите каши какой-нибудь. Много ли им надо?

Глаза Сергея Сергеевича становятся круглыми и наливаются ужасом.

— А отчитываться? — говорит он. — Как отчитываться будем? Ведь инструкция запрещает расходование сверх нормы.

Заведующий хозяйством произносит слово «инструкция» со страхом и благоговением. Этот человек всегда воюет с непорядком, который наступает на него отовсюду. В дни составления отчетности его трогать нельзя. Он ходит тогда сосредоточенный, неземной. Он грезит столбцами и цифрами,

и по всем делам обращаются уже не к нему, а к его помощнику, Егорову, черному, цыганистому человеку.

— Не голодать же им, — теряется главный врач, загипнотизированный зрачками Михина. — Надо же как-нибудь.

Мимо проходит Ельцов. В руке у него бережно зажата склянка со спиртом. Возле подвод он останавливается, качает своей плотной медвежьей головой и что-то бормочет.

— Что, Ельцов, — спрашиваю я, — скверная картина?

— Так точно, скверная, господин доктор. — Он смотрит несколько минут на лежащих. — Я думаю, господин доктор, теперь не заставишь больше этих ребят спевать солдатские песни.

В его маленьких, спрятанных под нависшими надбровьями, глазах мелькает почти неуловимая усмешка.

Арбы разъезжаются. Пространство между дорогой и гессенскими палатками усеивается человеческими фигурами, наиболее крепкими из только что прибывших. Они бредут сами, согнувшись, медленные, как беклиновские тени.

Тинченко делает несколько шагов, чтобы направиться вслед за ними, так как наступает время работы, но вдруг останавливается и хватает себя за грудь.

— Куда оно запропастилось? — бормочет доктор взволнованно, шупая карманы сквозь халат. — Это чорт знает что.

Встревоженный, он поворачивается и исчезает в дверях. Тоненькая фигурка солдата без погон, с странно-моложавым лицом в нежном румянце, пересекает в этот момент дорогу. Глаза Михина делаются тупыми. Два санитара, тянущие пустые носилки, замедляют шаги. У всех появляется выражение окаменелости и напряженности.

Солдатик, ни на кого не глядя, заворачивает за угол здания. Когда он скрывается, тишину нарушает вздох. У Михина вздрагивает подбородок. Санитары снова волокут носилки. Все пробуждается как от сна.

Это длится мгновение. Главный врач продолжает упрашивать завхоза о каше, ничего не успевши заметить. Потом его взгляд падает на панораму гор за рекой, и лицо светлеет.

Горы, действительно, прекрасны.

Я делаю обход. Ельцов движется за мной с пачкой регистрационных листков. Его пальцы плохо справляются с ними. От времени до времени слышны шелест, затем кряхтение. Листок падает, как голубь, и Ельцов подбирает его.

Он волосат, как горилла, волосы его красновато-рыжи. Городской рабочий, он вышел в ротные фельдшера уже на военной службе. Неловкости его заскорузлых рук в нашем медицинском обиходе больше всего угрожают капли. К ним он относится, как к личному врагу. 8 капель опия или 25 капель валерианки вгоняют его в пот.

Больные, впервые попадающие в отделение, боятся его, потом любят. Он ворчит на них, но вместе с тем он их советчик, юрист, писарь, рассказчик. Его всегда можно застать около чьей-нибудь койки. Более легкие больные стягиваются к нему в кружок, и у них начинаются разговоры. У меня огромное желание подслушать их, но это недостижимо. Как только я появляюсь, непринужденность улетучивается, и беседа явственно принимает другой оборот.

В огромном шатре плавает светлый полумрак. Воздух прохладен, и полотнища монументально свисают к земле. Перевязки кончены, и начинается очередь тех, кого выплеснули сюда брюшняк, кишечные заболевания, малярия, печень, упрямые ревматизмы. Якушев так худ, что ребра выпирают, как ободья спавшегося шара. Санитар и фельдшер поворачивают его на бок, и обнажается пятно на кресце, бело-сизое и уже сукровично растертое.

— Братцы... Христа ради... — стонет Якушев.

Красная полоса, расползшаяся вокруг гангренизирующего очага, показывает, что пролежень со вчерашнего дня увеличился.

— Отчего круг не выписан, — набрасываюсь я на фельдшера. — Сейчас же затребуйте из аптеки.

Больной произносит все слова, которые извечно сопровождают боль. Ельцов вытаскивает замусоленный карандаш.

— Только осторожней с ним, — говорю я. — Он у нас один-единственный.

Ельцов переводит взгляд с меня на Якушева и снова на меня. Он ничего не понимает. Почему Якушев — один-единственный у нас? Он подозревает шутку и, на всякий случай, улыбается.

— Круг у нас один, — поясняю я. — Не испортьте его. С ним надо обращаться...

Тут меня прерывают. Черная тень падает на широкую полосу света.

— Вашей блародия! Главный блародия просит ходить к нему.

Измаил, мой денщик, стоит у входа и зовет меня.

— Не знаешь, зачем это? — спрашиваю я.

— Це, очень важный дэло, — тотчас отвечает он и жалостно качает головой. — Он плачить.

Его черномазая физиономия кавказца оживлена, и глаза блестят.

— Кто плачет?

— Вай, он савсем плахой. Савсэм мало-мало разговаривает. Его снимал и клал, он кричал и плакал. Если везли на мулы три дня. Никакой помощь.

Измаил уже забегает вперед и жестикулирует.

— Фа!.. — зажимает он нос рукой. — Савсэм нэвазможна дышать. Дух чижолый. «Кушать хочишь? Жареный, пареный?» — «Нет, нэ хачу. Пыть хачу, вода холодный хачу, пропадаим от жара». Нэт, савсем не харошый дэло. За комендантым посылал. Писма жена посылат хочит. И опять плакил.

Возле нашего дома, расставив короткие ноги, стоят один вслед другому два мула; горные санитарные вьюки, как гамак, висят на них. Разговор с Измаилом становится понятным: привезли кого-то из командного состава. Если послали за мной, значит, пострадавший ранен, так как у меня репутация хирурга. Обычно офицерский состав к нам попадает редко; их, должно быть, отправляют по другому направлению.

В вестибюле канцелярии, низком как погреб, рядом с ча-

совым у денежного ящика стоит возле кучки вещей неизвестный солдат, очевидно денщик. Свет из щели под потолком, плоским и глиняным, показывает его запылённое, усталое лицо.

— Там, вашей блародия, — говорит Измаил, понижая голос с таким выражением, точно перед ним вход в таинственную пещеру.

Я спускаюсь на одну ступень и прохожу в узкую, как гроб, дыру, тоже освещенную щелью в стене.

На носилках лежит человек. У его изголовья присела сухая фигура главного врача.

Блестит на столике стекло шприца и двух склянок.

— Вот видите, боли легче стали, — говорит главный врач. — Теперь вы отдохнете, наберетесь сил. Мы вас пока здесь устроим. Не правда ли, Наум Абрамович? — обращается он к доктору Милевскому.

От маленьких пухлых пальцев старшего ординатора струится эфир.

— А вот и наш хирург, — говорит Милевский, оборачиваясь ко мне.

Несмотря на полумрак, сизая тень ясно различается на лице лежащего человека. Его волосы, черные, тусклые, липнут ко лбу и вискам, белые зубы как будто обтянуты пленкой.

В этом низком и душном помещении от прибывшего невыносимо пахнет испражнениями и смертью.

— Пулевое ранение, — говорит главный врач и посылает мне предостерегающий взгляд. — Положение в общем благополучное.

Милевский наклоняется и приподнимает одеяло. Марля выпукло обтягивает вздутый живот. Больной в нижнем белье и в гимнастерке с погонами. Нет, это не важное начальство, — это только поручик.

Я прикасаюсь к его брюху, пустому и натянутому, как барабанная кожа. Мои пальцы почти невесомы, но лицо раненого перекашивается. Да, это перитонит! Кал просочился через продырявленные петли кишек и зажег брюшину.

Я не знаю даже, что сказать. Здесь все так просто, что язык становится неподатливым.

— Как ваша фамилия? — спрашиваю я, чтобы прервать молчание.

Офицер переводит на меня взгляд, долгий и настороженный.

— Янчевский . . . — выговаривает он шопотом. В опаленном рту блестят два золотых зуба. Тем же шопотом сухих губ он добавляет: — третьего . . . Тенгинского . . .

На шее у него от усилий вспухает вена. И вдруг в зрачках зажигается жадный и неистребимый блеск.

— Серьезная штука . . . — бормочу я. — Но вы перенесете. О, да, — взяв его кисть, говорю я тотчас с изумлением, — пульс приличный.

Артерия трепещет под пальцами, ее ритм ускользает, будто проваливается в глубину.

Этот пульс обещает агонию. Мое изумление, конечно, деланное.

Милевский — бактериолог, двадцать лет он сидел за микроскопом. Он почти бесполезен как врач. Каждый случай ему кажется редким. Главный врач — терапевт. Тинченко — глазник. Мой почти годовой стаж, хотя и студенческий, у профессора Волковича поднимает меня, как хирурга, неизмеримо в их глазах.

— Ну, ваше мнение? — спрашивает уже на улице Наум Абрамович. — Вытянет?

Я смотрю на зеленое поле трав и стальной пояс Кара-Су, на торы, такие воздушные, точно они лишены тяжести. Нет, все это только для живых.

— Вряд ли он долго продержится, — отвечаю я. — Даже нет смысла перевязывать его. Только лишние мучения.

Мулы кем-то отогнаны в сторону и дремлют в тени. Откуда-то, должно быть из кухни, тянет теплым дымом. Два человека из команды несут мимо нас бревно, отысканное в развалинах.

— Веселее, Дмитрич, — подбадривает высокий солдат с мочальной редкой бородкой. — Галок, как говорится, ловить поспеешь.

Круглое дерево, почерневшее от времени и копоти, качается на их плечах, как длинное, без конечностей, туловище.

— Какой молодой, — сокрушается старший ординатор и вдруг спохватывается: — надо же санитара к нему приставить!

Он смешно и коротко семенит, толстенький и одышливый, к помещению команды. Тяжелое дыхание офицера преследует меня, и я иду в дом за папиросами. В коридоре бушует долетающий из комнаты крик:

— Тебе клозеты чистить, сволочь, а не обращаться с вещами. Хоть из-под земли вырой, а мне чтоб было найдено. Ты у меня поторчишь вот под ружьем, сукин сын!

Доктор Тинченко распекает своего денщика. Аракел, плюгавый, робкий, упирается взглядом в пол. Лицо врача искажено.

При виде меня гнев его несколько стихает.

— Иди, — говорит он после короткой паузы, — и ищи. Не приходи без него.

В этой дыре бури налетают на человека как самум.

— Какая вас муха укусила? — говорю я сдержанно, возясь над своим чемоданом.

Пыль щекочет мне нос; пол земляной и, как его ни прибивают и утаптывают, всегда рыхловат. Тинченко стоит надо мной.

— Я ненавижу их всех, — говорит он, и глаза его загораются. — Я ненавижу всех, все это стадо, все эти миллионы, это мясо, всех тех, кто командует и кто подчиняется. Для чего загнали меня сюда?

Во мне нет, однако, никакого сострадания к коллеге. Его ноги, расходящиеся в коленях, находятся на уровне моих глаз, и голенища, глянцовитые до блеска, сверкают, как черные солнца.

— Ваша ругань безобразна, — упрекаю я его. — Вы ведь врач и интеллигентный человек. Зачем вы его сволочью называли?

Сапоги стремительно перемещаются возле меня.

— Чорт бы драл эту интеллигентность, — вскрикивает он. —

Этот болван чистил мою тужурку и затерял письмо, вчера полученное. Если оно не найдется, я с него шкуру спущу.

В углах его рта закипает пена.

4

ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ ВОПРОСА

Полученный для Якушева круг отобран по распоряжению главного врача.

Рыжие усы фельдшера обиженно шевелятся у толстых губ.

— Приказ такой: взять немедля, — разводит он руками, короткими и могучими, как корни. — Требуется, мол, для офицера, что утром привезли.

Распоряжение главного врача я считаю неправильным. Круг не поможет поручику, которому жить осталось часы, день — самое большое. Это — во-первых; во-вторых, он ему пока не очень нужен, а Якушеву угрожает распространение пролежня.

Затем, это распоряжение, сделанное помимо меня, просто не тактично.

— Дело не в том, что круг требуется офицеру, — возражаю я Ельцову, — а в том, что офицер в чрезвычайно тяжелом положении и больше нуждается в уходе, чем Якушев.

Эта тирада звучит, однако, малоубедительно, и видно, что фельдшер понимает меня насквозь. Однако он молчит.

К концу обхода, когда чувствуется усталость и спина слегка ноет от сгибаний, выслушиваний, выстукиваний, через сукно палатки снаружи проникают тоненькие голоса.

— Залопотали, — отзывается на них Ельцов. — Подают знак. Как насчет еды, так нет ни своих, ни чужих. Хлеб — понятливый язык.

Он говорит о детях.

Когда мы пришли сюда, долина была пуста и селение разрушено. У осыпавшихся стен шмыгали кошки, злые, одичавшие, мелькавшие, как призраки, в дырах развалин. В одном из жилищ, называемых здесь ханами, мы нашли ис-

сохший, как мумия, труп старика. Блохи двигались косяками по земле.

И это было все.

Через несколько дней, в предобеденный час, появился за деревней человек. Веревка опоясывала белую, до колен, рубашку, складки которой развевались при ходьбе. Шоколадными ногами он месил пыль. Борода патриарха рассыпалась по груди. Его держал за руку мальчик.

Эти две фигуры, сделав полукруг, обошли далеко селение, пока тропинка не увела их за холм. Старик и поводырь больше не показывались.

Потом в Кизил-Чубук стали приходить чернобородые люди. Они топтались около солдат, около палаток, около нас. Платье их, по-восточному пестрое и грязное, изобиловало пышными узорами заплат. У лодыжек шаровары были стянуты, а к поясу непомерно расширялись множеством складок, отвисали сзади и мотались, как курдюки. Эти люди, держась в отдалении, молча ходили за нами. Они смотрели на нас пустыми и жадными глазами, и кадыки перекатывались на их узловатых шеях. Они глотали слюну возле походного котла. Наконец они раскрывали рты и произносили что-то гортанное и булькающее. Только денщики их понимали (денщики наши были кавказцы). Однако разговоры с гостями у наших были короткие:

— Пашел! Рэзить вас надо!

Они добавляли на непонятном языке еще что-то такое, от чего посетители умолкали и неторопливо, с фатальной покорностью, отходили в сторону.

Солдаты, натыкаясь на них, спрашивали лениво:

— Какой народ это будет? Персюки, что ли?

Денщики отвечали:

— Нэ, курды это.

И объясняли:

— Хлэба просить. Кушать нэма. Разбойники это. Рэзить их нада.

Их не резали, но им ничего не давали, и они исчезли, отогнанные, в конце концов, этим солдатским гостеприимством.

Но однажды, уже после того, как о курдах забыли, появились дети.

Они пришли к полудню, когда на обходе больной подставлял мне свою грудь, прося отыскать в ней то, что «дыхать не дает и колотит». Неработоспособность почек залила его голени отеком. Он жаловался и охал. Солдатское тело источало запах неопрятности, болезни и беспомощности.

Кругом стоял придушенный шорох стонов, и вдруг тоненькие свежие голоса пробились в полумрак палатки.

Прозвучав неожиданно, гомон детей начал стихать, пропал и снова приблизился, совершив таким образом дугу за нашей большой гессенской палаткой.

— Я покончил с солдатом и вышел.

Их оказалось трое: два мальчика и девочка. Старшему было лет одиннадцать; девочка выглядела строгой и надутой, ей нельзя было дать и семи.

Оживление их исчезло. Они замолчали и уставились на меня.

Маленький держался за руку старшего. Они были смуглы и босы, со спутанными волосами, густыми и черными; глаза и губы их блестели.

Распоряжаясь, где-то кричал заведующий хозяйством; иногда ржали лошади. Через дорогу проходил кто-нибудь из команды. Санитары уносили судна и ведра. Выздоравливающие, разнеженные солнцем, сидели на камнях развалин. Шла обычная жизнь, которую мы уже привыкли не замечать.

— Паша̀, — сказал старший мальчик. — Паша̀ . . .

Он произнес несколько слов, причмокнул губами и протянул руку. Язык был мне неизвестен, но смысл вполне ясен. Все трое внимательно смотрели на меня без смущения и страха. Мальчик просил хлеба.

— Хорошо, — сказал я, забывая, что они меня не понимают. — Хорошо. Как тебя зовут?

Он опустил руку, подумал и сказал:

— Паша̀ яхши . . . паша̀ . . .

Я велел денщику принести хлеб. Толстогубое лицо Измаила выразило презрение.

— Вашей блародия, — сказал он, рассматривая с интересом рукав своей рубахи. — Вай, нэма хлэба.

— Как нет хлеба? Ты смеешься, что ли?

Я не съедал и трети того, что составляло мой паек. Денщик тоже получал порядочную порцию и не нуждался в остатках.

— Хлэб еще не давали. Каптенармус нэма, — поправился он.

— Сейчас же принеси без разговоров все, что есть, — рассердился я.

Он принес ломти, накопившиеся за трое суток.

Дети стали являться каждый день. Они были детьми тех самых курдов, которые посещали нас раньше. Отцы рассчитали правильно: солдаты проявили к детворе меньше равнодушия и враждебности. Вскоре она оказалась на положении прижившихся собачек.

— Ну, чертенята, давайте посудину.

И кашевар наваливал в миски дымящуюся, в отливах жира, кашу.

Они шмыгали всюду. Одни приводили с собой других. Число их возрастало. Между ними, очевидно, установилась какая-то очередность, так как больше пяти-шести детей сразу не появлялось. Были среди них крошки необычайно забавные. Когда нужно было спешить, кто-нибудь повзрослее хватал малютку, закидывал себе на плечо и мчался с ношей, подпрыгивавшей с серьезным видом на спине.

— Басурманская душа, либо христианская, — снова говорит усмехаясь Ельцов, провожая меня к выходу, — а кушать хочет одинаково.

Дети, цветными пятнами сидящие на невытоптанной еще траве, поднимаются мне навстречу.

Впереди — мальчик с широко расставленными оливковыми глазами. — А, Гассан, — говорю я, — как дела?

Их четверо; они окружают меня, и мы движемся все вместе к дому. Они перебивают друг друга.

— Давно тебя не было, — продолжаю я, вспоминая, что он не показывался несколько дней. — Не болел ли ты? А где Зюлея?

Совершенно непостижимым образом мы научились понимать друг друга. Зюлея, черноглазая, смуглая, с персиковым отливом щек, необычайно стройная, сестра этого подростка. Гассан отвечает длинной фразой, звучащей как набор слов:

— Перимитзе берик еффенди бир фелахетвар...

Он показывает себе на грудь, голос у него падает, губы кривятся. Подозрение, ужасное и стремительное, ошеломляет меня.

— Умерла? — спрашиваю я после паузы, закрывая глаза и клоня голову, что должно изображать смерть.

Он кивает мне, затем вытягивается на носках и поднимает высоко кверху руку, а кисть сгибает: другая рука его наносит удар в воображаемую грудь.

Речь идет об его отце. Итак, он убит.

Пока мы доходим до жилья, Гассан успевает рассказать всю историю. Историю в двух частях.

Впрочем, первую часть я знаю без него.

Курды спускались с гор и резали армян. Когда приходили русские, армяне резали курдов. Такова была приправа к национальному вопросу в Турции.

В Кизил-Чубуке спектакль разыгрался по тем же нотам, и в общем от селения остались только пустые ханы.

Русские, придя в эти места, нуждались в топливе. Леса не было.

Тогда стали ломать земляную и каменную кладку жилищ и выковыривать оттуда, как изюм из булки, бревна.

Наш лазарет увидел Кизил-Чубук уже опустошенным. Сохранилось одно строение у дороги, большой, с массой пристроек, дом местного кази.

Во всякой науке различают общее и частное. В медицине — то же самое. Есть, например, общая хирургия и частная хирургия. Есть общая патология и частная патология. И так далее.

Общую патологию армяно-турецкого вопроса я знал кое-как из литературы и истории.

Теперь я слушаю главу из частной патологии национальной политики, которую рассказывает Гассан.

Их деревня гнездится в горах. По воле победителей или из-за недосягаемости местоположения жители не пострадали при наступлении русских.

Наверху земля голая, и лучшая трава растет на нижних уступах гор, более открытых и доступных. Какой-то фуражирный отряд, которого не ожидали, наткнулся на стадо, принадлежавшее деревне, и угнал его с собой.

Во всем селении осталось два буйвола, три ишака, несколько коз и корова. Заботу о них уже не рисковали доверять детям. Мужчины спускались с ними на пастбище.

Ниязи, отец Гассана, погнал с утра это подобие стада в лощину. Он взял с собой десятилетнюю Зюлею.

Незадолго до вечера Зюлея прибежала домой. Клочья одежды бились об оцарапанные колени. Кровоподтеки усеяли ноги и лицо. Синие следы душивших ее пальцев пролегали по коже. Девочку изнасиловали.

Ниязи остался лежать на земле. Штыки разорвали ему грудь. Напавшие были русские солдаты-армяне.

Решение национального вопроса было дано в чистом виде, без примеси корысти или расчета: корова, буйволы, ишаки, козы паслись нетронутыми.

Женщины, распустив волосы, плакали неистово, по ритуалу, над телом Ниязи. Зюлея осталась с матерью и никуда не выходила. Старый Хашанур, глава рода, велел возносить молитвы Аллаху и благодарить пророка. «Ниязи будет у гурий и вкусит блаженство, — сказал он. — А если бы неверные угнали скотину, то нашим матерям, нашим детям и женам и всем нам нечем было бы поддерживать свои жизни. Аллах милосерд. Да будет прославлена мудрость его!»

Гассан рассказывает это: голос его спокоен. Мы подходим к дому, и Измаил уже тащит навстречу хлеб, куски рыбы и вареной солонины.

Пока он возится на дворе с детьми, я разыскиваю среди своего имущества остатки шоколада, достаю два носовых платка, флакончик с каплей одеколона на дне и собираю все это в пакет для Зюлеи. В это время входит главный врач с буматой в руке. Он садится к столу и достает очки.

— Василий Степанович, — говорю я ему, убрав чемо-

дан. — У меня есть больной с пролежнем. Я хочу вас просить дать ему на сегодня круг. У него язва как раз на кресте, и круг необходим. А поручику он, в сущности, не нужен.

Бородка главного врача устремляется на меня.

— Вы смеетесь! — сухо возражает он. — Человеку жизни осталось несколько часов, а вы хотите прибавить ему страданий. Ваш больной потерпит, — категорически заканчивает он и возвращается к бумагам.

Спорить дальше бесполезно.

— Нужно было бы еще раз осмотреть его, — напоминает он мне, когда я прохожу мимо стола. — Может быть впрыснуть ему что-нибудь? Не жалейте кофеина.

Он говорит об офицере.

Дети на кухне заняты едой; они макают хлеб в горячие щи. Кашевар делает вид, что поглощен варкой и не замечает их.

— Зюлея, — произношу я одно сиво и сую Гассану пакет. Он понимает меня. Его рот полон, и губы мокры.

— Яхши, паша-дохтар, — говорит он после глотка, — Зюлея яхши.

За кухней земля вздута буграми, круглыми, как огромные опрокинутые котлы. Это крыши землянок команды. Затем начинается открытая площадка, обширная и голая. Солнце обжигает ее. В центре стоит солдат с винтовкой на плече. Скатанная шинель серой змеей стискивает его туловище. Вещевой мешок, увесистый, набитый, оттягивает спину. Человек стоит неподвижно, точно прирос к земле.

В нагруженной амуницией тщедушной фигуре я узнаю Аркела, денщика доктора Тинченко.

Пот ползет со лба на его маленькое птичье лицо.

5

ОБ ОХОТЕ

На склонах за селением скользит фигура в широченной черной шляпе и черном балахоне. Отец Цинцадзе гуляет.

У нас умирают мало, и дела у священника немного. Он молниеносно совершает отпущение грехов, что-то шепчет отходящему и прикладывает к стынущим губам крест. Затем он снимает облачение. И все. Мертвеца уносят на погост два санитара.

По праздникам расставляют на площадке между шатрами походный аналой. Солдаты с непокрытыми головами кучками толкутся за спинами Тинченко, Василия Степановича, Михина; батюшка речитативом, не теряя грузинского акцента, читает молитвы, иногда начиная выпевать «Господи, помилуй», «Миром господу помолимся». Из обоза Фокин, мужичок с лисьим елейным лицом, трясет кадилом. Этот солдат неприятен своей навязчивой услужливостью. Батюшка сует крест подходящим, молебствие кончается.

Нос у отца Цинцадзе огромный; горбинка разламывает его как раз посредине, к концу он расширяется, мощно повисая над усами, и окраска его приобретает уже лиловатый оттенок, отражая долголетнее знакомство с винами родного Закавказья. Борода у батюшки лопатой, волнистая, еще черная, в сильной проседи.

Он ни во что не впутывается, никому особенно не надоедает и ничем целыми днями не занимается. Последнее обстоятельство ему не мешает, однако, всем и каждому рекомендовать трудиться.

Теперь он гуляет в ожидании обеда. Я стою на берегу и вижу отсюда черный силуэт, скользящий на далеком фоне.

У меня есть любимый путь, обозначенный рассыпавшимися стенами из глины и самана. В этом воображаемом переулке пустынно. Шаги разгоняют кошек, худых и одичавших. Из дыр руин их зрачки светятся планетным светом.

Это всего только разбитая деревня, но при некоторой фантазии очень легко представить себе древний город. Отжившие века пробуждаются. В этом мире прошлого журчат источники, проходят невольники с разукрашенными носилками богачей, возносится дым курильниц.

Река, несмотря на ровную поверхность, необыкновенно стремительна; она с силой несется откуда-то с гор и обильна форелью. Рыбу здесь не ловят крючком или сетью. Руч-

ная граната описывает полукруг и шлепается в воду. Раздается гул, фонтан брызг и пены летит вверх. Волны усеиваются, точно водяными, белыми пятнами. Это плывет, брюхом наружу, оглушенная рыба.

Я стою у берега и смотрю на волны. Евфрат и Тигр, Вавилон, Ниневия, Ассирия, Навуходоносор, Кир, Камбиз, — вся легендарная даль человечества струится мимо меня. На огромных пространствах возникали и строились государства, гибли цивилизации, земля содрогалась от топота полчищ, которых деспоты приводили в движение.

Номады сокрушали царства, а потом появлялись другие кочевники, более могущественные или более хищные, и в свою очередь съедали победителей. Войны, цари, разрушения, тираны, честолюбие, — вот вся эта древность, какой ее вдалбливали в наши ученические головы. История была историей царей, но история ничего не рассказывала о тех, кто выносил на себе всю тяжесть походов, о солдатах, о рабах, которых вооружали, которых гнали умирать и которые не знали ни отдыха, ни опахал, ни роскоши садов, ни ароматов благовоний. Наши больные, заполняющие гессенские палатки, напоминают мне о них.

Короткий звук, очень слабый, с отголоском металла, повторяется несколько раз. Это на кухне бьют, как в гонг, куском железа о железо.

Надо итти обедать.

Отца Цицадзе уже нет. Сигнал увел его с лона природы.

Впрочем, я не один. Солдатская фуражка движется по соседней уличке, — вернее, там, где была когда-то уличка. Громоздящиеся кучи распавшихся стен скрывают ноги, туловище и лицо идущего человека.

Вскоре мой путь перерезает также и большая фигура Михина, с видом ищейки несущего свою разлохмаченную голову.

Мы сталкиваемся лицом к лицу.

— За какой дичью вы охотитесь, — подшучиваю я. — Не за Надеждой ли Викторовной?

Надежда Викторовна — жена его помощника. Егоров,

цыганистый, угрюмый казак, привез ее с собой. Она одевается в мужское платье и похожа на тоненького безусого странно-моложавого солдатика.

В сущности, это неудачная затея — взять ее сюда, в нашу глушь. Здесь на двести верст в окружности нет женщин. Я вижу по разным признакам, что сто сорок здоровых мужчин, составляющих нашу команду, следят за ней. Она входит в кровь каждого. У всех удесятеряется обоняние. Ее ощущают сквозь стены. Это может кончиться плохо.

Егоров бешено вспыльчив и дико ревнив. Жену он не бьет, но как будто чувствует вожделение, которое охватывает окружающих, и становится угрюмым и грубым, когда видит ее с кем-нибудь. Его режим — домостроевский. У них отдельное крохотное помещение, нечто вроде землянки. Иногда она уходит к реке и бродит там в одиночестве, избегая разговоров и только коротко и торопливо отвечая на приветствия.

Лицо Михина становится разочарованным. Он смущен моим появлением. Солдатская фуражка женщины ныряет среди развалин и уплывает.

— Откуда вы выскочили? — ворчит заведующий хозяйством. — Я задумался и не заметил вас. — Потом, точно сообразив, добавляет сердито: — Про какую дичь вы говорите?

Я примирительно объясняю:

— Ну, чего вы? Я ведь пошутил.

Слово «дичь» вызывает у него ассоциации. Глаза его загораются.

— А вы знаете, здесь, оказывается, богатые выводки. Мне этапный наш комендант сегодня сообщил. Вы понимаете, что это значит? Эх, жаль, что вы не охотитесь.

Ничто не способно затмить в нем страсть охотника. В свободное время он вытаскивает свои два крупповских ружья, чистит и перебирает их, сокрушается, что кругом нет птицы.

— Где же их нашел комендант? — спрашиваю я недоверчиво.

Кроме лазарета, в Кизил-Чубуке на другом краю селения устроился, уже после нашего прибытия, и этапный комен-

дант. Несколько разрушенных хан он покрыл брезентами, расставил юрты и палатки, выкопал землянки. У этого светловолосого румяного молодого штабс-капитана, контуженного в одном из боев, имеется свое управление и команда в пятнадцать человек, назначенных кормить проходящие части. Иногда в глубине селения раздаются выстрелы: комендант бьет из ружья кошек. Занимается он этим, очевидно, со скуки, но уверяет, что готовит к зиме перчатки из кошачьего меха. Вид у него всегда такой, точно его неожиданно подняли с постели. Ремешки на сапогах болтаются, гимнастерка — без пояса, копну золотистых волос обвевает ветер.

— Верстах в десяти отсюда, — говорит Михин. — Комендант ездил в Башкей и свернул в сторону, чтобы сократить дорогу. Там оказался лесок, а в леску горных курочек — тьма.

Вдруг его взгляд упирается в меня:

— Э, вижу, что и вас, кажется, разбирает. Хотите, вместе пойдем на охоту?

У меня в самом деле пробуждается желание побродить с ружьем. Я объясняю, однако, что главный врач посылает меня чуть ли не завтра в Эрзерум за ассигновками.

— Очень бы хотел, — говорю я. — Интересно поохотиться.

Он хлопает себя по лбу:

— Вы не поедете, голубчик, откажитесь. На кой чорт вам трястись столько дней, валяться в грязи, питаться разной дрянью. Чего вы там не видели? Вшей и блох? Бросьте, не езжайте.

В Эрзеруме находятся все тыловые учреждения, главное интендантство, полевое казначейство, главная аптека. Приблизительно раз в месяц госпиталь отправляет туда приемщика, кого-нибудь из наиболее соскучившихся по городскому шуму. Главный врач снисходителен, так как понимает, что у человека есть кой-какие потребности. На этот раз он предложил поехать в казначейство мне.

Дело, конечно, в том, что мы стоим на месте уже три месяца. Весь этот ландшафт с горами и рекой знаком мне до последней ложбинки, работа начинает казаться однообразной и удручающей. По ночам я иногда просыпаюсь и

лежу в отупении, с открытыми глазами. Это уже похоже на хандру. Десятидневная поездка верхом кажется мне хорошим освежающим лекарством.

Непонятно, однако, чего ради это трогает так Михина.

— Но ведь кто-нибудь должен ехать, — замечаю я.

Он потирает руки и останавливается как человек, охваченный блестящей идеей.

— Конечно, мы найдем другого, это уж будьте покойны. А мы с вами покатим на охоту. Сейчас самый сезон, потом будет поздно. Я вам дам двустволку с замечательным боем. Пальчики оближете.

В сущности, Эрзерум мало соблазнителен. Я представляю себе ужасную дорогу через горы, ночные привалы на душных этапах, потом возню в казначействе, ответственность за денежные суммы. Охота — это, во всяком случае, не хуже путешествия.

Я соглашаюсь. Мне попрежнему невдомек рвение Михина, но я успокаиваюсь на соображении, что, кроме меня, он не может подобрать себе здесь никакого подходящего компаньона. Мы приближаемся к дому; перед нашим носом Измаил и Кеворк, денщик священника, проносят большую кастрюлю.

Она благоухает постным маслом и луком.

СЛОВО ПРИНАДЛЕЖИТ УСТАВУ

У нас у всех, у врачей и священника, одна общая комната, с плоским потолком, толстым и земляным. Два отверстия на уровне роста, простые дыры, ничем не закрытые, выполняют одновременно роль окон и отдушин. Никто не думает о зиме; удовлетворяются тем, что Михин обещал достать стекла и устроить печь.

Походные койки расставлены вдоль стен. Посредине — вделанный в пол тонконогий стол. Мы восседаем на грубых, наспех сколоченных стульях. Отсутствует только Егоров, которому обед посылается отдельно, ему и его жене. Из ат-

верстия в стене проникают косо лучи, и солнце зажигает над головой сидящих сияние. Мне это напоминает апостолов за трапезой. Отец Цинцадзе бормочет под нос:

— Благословен хлэб наш и пища наша...

Его не ждут и начинают есть.

Между глотками борща главный врач сообщает, что получены сведения о скором посещении начальства. Корпусный врач собирается осмотреть лечебные заведения дивизии.

— Наконец-то, — говорит Милевский, двигая осторожно вставными челюстями. — Хоть посмотрим, каков он.

— Милости просим, — говорит главный врач. — У нас все в порядке. Но все-таки надо немножко подтянуться и подчиститься. Вот у вас, Дмитрий Петрович...

Это уже похоже на сцену из «Ревизора». Апостольские лики тускнеют, солнце передвинулось и золотит капли жира на тарелках. Главный врач обращает внимание Тинченко на кучу грязных тюфячных мешков, сваленных близ палатки. Ординатор усмехается.

— Что же здесь такого? — говорит он желчно. — Половина больных лежит у меня на соломе, без коек. Нехватает ни места, ни хороших мешков. Пусть приедет и посмотрит.

Отец Цинцадзе громко рыгает и гладит бороду. Черный с проседью водопад струится между его пальцев.

— Солдат все должен тэрпэть, — возглашает он. — Тэрпэнье воздастся. Тяжкий труд угоден господу.

— Что такое труд? — улыбается Милевский. — Вы, батюшка, тяжело трудитесь и сознаете важность своего труда, а солдат? Солдат не всегда об этом думает. Он позволяет себе страдать от плохих больничных удобств.

— Наши начальники, — с кротким укором говорит священник. — болэют душой за всэх...

— Господа, — прерывает их главный врач, — давайте поручения Льву Семеновичу. Он послезатра едет в Эрзерум.

Заведующий хозяйством, глотающий в этот момент кусок рыбной котлеты, давится глотком и быстро произносит:

— Лев Семенович ехать не хочет. Надо будет заготовить бумаги на кого-нибудь другого.

Усы главного врача удивленно шевелятся. Я весь погружаюсь в еду. Он смотрит на меня, потом пожимает плечами:
— Как ему угодно. А кто же поедет?

Михин тыкает равнодушно вилкой в тарелку.
— Я бы сам с удовольствием прокатился, если бы не близкая отчетность. Должно быть, придется собраться Егорову,— говорит он как бы невзначай. — Больше некому. Он мне сейчас не нужен. Письмоводителю тоже предстоит большая работа, его нельзя отпускать. Только Егорову и ехать. Нужно будет кстати прикупить запасные шлеи к хомутам и дратву.

Между Василием Степановичем и заведующим хозяйством начинается деловой разговор. В дверях показывается санитар, ухаживающий за офицером; он топчется на месте и ждет, когда его заметят. Раненому, очевидно, плохо. Я кивком головы даю понять, что сейчас приду, и солдат нерешительно скрывается. Полные губы и дрябловатые щеки Милевского движутся около моего уха.
— Знаете, что такое наш Михин? — шепчет он. — Михин — тенор. Он хочет петь первым любовником, пока спроваженный Егоров будет гулять в Эрзеруме. Как вы думаете, пройдет номер?

Дым от папирос окутывает нас.
— Знаете, что мне сказал Михин? — затягиваясь, спрашиваю я вместо ответа. — Дней пять назад он пришел ко мне и начал просить средство «успокоить кровь». Я едва не расхохотался. Однако он не смутился. «Если вы этого не сделаете, чорт знает, что может быть» — признался он мне. Я выписал ему бром и камфору монобромату. Очевидно не помогло.

Мы сидим в углу и шепчемся заговорщицки. Глаза отца Цинцадзе затягиваются, как у курицы, сонной пленкой. Главный врач и заведующий хозяйством еще продолжают обсуждение предстоящей командировки.
— Значит, я немного ошибся, он все-таки борется с природой, — говорит Милевский и, вздохнув, продолжает: — Да его, собственно, и обвинить ни в чем нельзя. Что у нас есть? Работа и досуг. Ну, работаем мы достаточно, а до-

суг? У нас нет ни книг, ни разумных развлечений. Тут действительно не то что обольстишься чужой женой или на кошек охотиться станешь, а камни начнешь грызть или петухом кричать. Знаете, что меня поражает? Как мы еще между собой не перецарапались в кровь?

Громкий зевок, напоминающий хруст дерева, заглушает все звуки. Койка с гулом и треском принимает отца Цинцадзе.

— А что такое наша команда? Это, — продолжает Милевский тем же шепчущим голосом, — полтораста здоровых мужиков в пустыне за тысячу верст от дома. Они разлучены с семьями; их хозяйства, конечно, разрушаются. Вы представляете, какие мысли должны их одолевать? Знаете, чего у нас нет? У меня, у вас, у Тинченко, словом, — у начальства? Человеколюбия. Из простого человеколюбия следовало бы их отвлечь от этих ужасных дум. А кто из нас ими интересуется?

Он придвигается ко мне ближе, и на своем лице я чувствую его дыхание.

— Я хотел вести с ними беседы популярного характера на общественно-научные темы. Так, что-то вроде лекций. Вас собирался втянуть в это дело. Но наш Василий Степанович запротестовал. У него хорошая память. Он помнит устав. Это, видите ли, не по уставу. Ну, а раз не по уставу, то и я стал умнеть. Что такое моя затея? — Это, — насмешливо говорит он, — ниспровержение существующего строя. А что такое мой мундир? — Это законы военного времени. Я и решил не связываться.

Он вздыхает и хочет еще что-то добавить, но в дверях снова маячит халат. Чорт возьми, я совсем забыл о раненом!

Санитар, ожидающий меня при выходе, сообщает, что офицер уже вторично гонит его за едой.

— Оченно они кушать требуют.

Мне кажется, что солдат что-то путает, но первые же слова поручика не оставляют сомнений.

— Я хочу есть, — говорит мне больной, и золотые его зубы блестят в дыре запекшегося рта. — У меня аппетит появился, доктор.

Голос у него звучит бодрей.

— Вам надо беречь силы и поменьше говорить, — внушаю я ему и берусь за кисть, отыскивая пульс.

Артерия упруго бьется под моими пальцами.

Тошнотный запах попрежнему разливается от койки. В каморке сумеречно и душно, воздух гулок, как в раковине. Выглядит однако поручик крепче и живей.

— Поменьше говорите, — строго повторяю я.

— Хорошо, — соглашается он. — Только два слова... Доктор, у меня мать, жена... Мне гораздо лучше, понимаете, немного еще сил... Я чувствую... Моя жена... Ее надо вызвать...

— Мы это сделаем, — успокаиваю я.

— Да, доктор, еще одно... Неужели их не схватили?

— Кого?

— Один был такой небольшой, ушастый, другой — в бараньей папахе. О, я чувствовал, что они затевают что-то. Солдаты распустились, они не хотели вылезть из окопов и итти вперед, приходилось гнать их. Когда я упал...

Возбуждение охватывает его. Не бред ли это? Но вид у него все-таки лучше.

Я распоряжаюсь взять его в перевязочную.

7

ДРУГОЙ КОНЕЦ ДИСЦИПЛИНЫ

В селении есть еще одно уцелевшее строение, напоминающее большой куб, и плиты, из которых оно сложено, циклопичны. На фасаде, выше входа, можно рассмотреть две пересекающиеся борозды, полустертые временем. Они похожи на крест.

Эта церковь примитивной архитектуры лишена окон; внутри у задней стены расположено возвышение, которое мы принимаем за старинный алтарь. Наши доморощенные археологи утверждают, что мы имеем здесь дело с весьма почтенным возрастом. По словам главного врача, этой каменной штуке насчитывается не менее семи веков.

Михин идет еще дальше.

— Ее построили первые христиане, — уверяет он.

Перевязочной у нас не было, заменял ее стол на открытом воздухе. Однажды, когда производилось вскрытие абсцесса, подул ветер и пыль закружилась над раной.

Тогда полили пол церкви карболкой, стены обрызгали крезолином — особым составом из отходов нефти, и каменная коробка превратилась в операционную. Эхо отдавалось в ее четырех углах.

Янчевского мы перевязываем долго и тщательно. Мне помогает Милевский, а также русый, с крепкой шеей и покатой спиной фельдшер Лаптев. У него небольшая опрятная борода, за которой он тщательно ухаживает, и удивленный взгляд. Около больного он ходит на цыпочках.

Мы моем живот иод-бензином, спиртом, сулемой.

Тут меня вдруг поражает одно обстоятельство. Рана у больного сквозная; заднее отверстие, недалеко от позвонка, еле заметно, в то время как на животе запекшийся черно-серый кружок достигает значительных размеров. Эта подробность входит в мое сознание, я начинаю ее обдумывать. Взбудораженная речь поручика проносится в памяти; догадка осеняет меня. Я вожусь с его брюхом, из которого, как из проткнутой консервной банки, при малейшем нажиме сочится скверно пахнущая жидкость, и не могу освободиться от засевшей в голове, как заноза, мысли.

К концу процедуры морфий перестает действовать, и начинаются боли.

Черты лица раненого заостряются. Ему впрыскивают следующую порцию наркотики. Затем, еле прикасаясь к тугому и напряженному животу, мы вводим чуть-чуть, на кончик сантиметр, тампончик.

Жестяной умывальник стоит далеко в стороне. Вода льется на наши руки.

— Наум Абрамович, — говорю я, — что такое дисциплина?

Доктор Милевский смотрит на меня, слегка улыбаясь, стараясь уловить смысл вопроса.

— Дисциплина? Гм... Что такое дисциплина вообще, я не

знаю. Но если хотите, я вам скажу, что такое дисциплина нашей армии.

— Вот именно, о ней я и спрашиваю.

Мы моемся тщательно и долго, так как рана поручика, слегка гангренизированная, не внушает доверия. Фельдшер и санитары возятся у стола и носилок, заканчивая приведение больного в порядок.

— Дисциплина царской армии, — говорит старший ординатор, — это кулак. Простой кулак и ничего больше.

— Хорошо, — говорю я. — А теперь скажите мне, будет поручик жить?

Помолчав он отвечает:

— Думаю, что нет.

— Да, вы правы, он умрет. Но вы знаете, кто виноват в этом?

— Знаю. Война.

— Нет. Это дисциплина убила его. Дисциплина имеет, очевидно, два конца. Его убило другим концом.

Старший ординатор ничего не понимает; он переводит взгляд с меня на офицера и снова на меня.

— Вы обратили внимание на входное и выходное отверстия раны? — спрашиваю я. — На их расположение?

— Да, интересный случай . . . — говорит он неуверенно.

— Не в том дело. В поручика стреляли сзади. Своя, русская, солдатская пуля убила его.

Черные моргающие глаза доктора Милевского расширяются.

— Да, этого я не сообразил, — произносит он медленно. — Гм . . . В таком случае . . . Это действительно . . . — Он молчит минуту. — Да, да . . . Только я с вами не совсем согласен. Тут нужно не то слово, не «дисциплина». Нет, это больше, гораздо больше. Как бы это сказать . . . Знаете, перед настоящим землетрясением сперва идут разрозненные толчки. Геологи говорят: сила сдвига три балла или пять баллов или шесть баллов. Когда шесть баллов, падают отдельные дома, а, скажем, восемь баллов — уже все летит вверх тормашками. Так я думаю, что сейчас в армии шесть баллов.

Он передает мне полотенце. Его пухлые пальцы, вытертые насухо, красны от холодной воды, как мясо.

С величайшей осторожностью поручика проносят мимо нас.

К вечеру он умирает.

Он расстается с нами бесшумнее, чем прибывает.

До ужина мы, кончив работу, бродим за селением, вдоль ската, длинного и отлогого, за которым поднимаются бородавчатые бугры предгорий.

В одном месте трава сочно зеленеет и лоснится. Родниковая струя бежит в ней.

Милевский останавливается на своих коротких ногах.

— Уф, — говорит он и оглядывается, точно собираясь любоваться природой. — Сколько этого вот... воздуха.

Дыханье его долгое и затрудненное.

— А мне, — добавляет он с стесненной улыбкой, — знаете, чего мне нехватает? Воздуха, доротой мой. Одышка проклятая.

— Что же, отдохнем, — предлагаю я.

— Знаете, что такое еврейское счастье? — говорит он, немного погодя. — Еврейское счастье — это я. Мой порок сердца сосватали с военной службой и погнали на край света. Таких, как я, увольняют в чистую. Я еще мог бы вступить в брак с лабораторией и переливать из пробирки в пробирку, а мне дают в подруги эти вот три тысячи метров над уровнем моря. Вы видели, как лопается яйцо? Это то, что будет с моим сердцем. В один прекрасный день я тресну, и готово.

Жирные складки щек старшего ординатора вяло свисают над воротником, нездоровая желтизна обтекает виски, белки глаз исчерчены вязью расширенных сосудов.

— Безобразие, — говорю я. — Как же вас послали на фронт с таким сердцем? Что они слепые там, что ли.

Доктор Милевский отыскивает бугорок и присаживается.

— Нет, они не слепые, — отвечает он спокойно. — Но скажите, пожалуйста, волную их я или сотни подобных мне? В таких войнах, как эта, люди мало занимают начальство.

— Почему вы говорите «в таких войнах, как эта?—спрашиваю я. — Разве не всякая война отвратительна?

— Знаете, — отвечает он. Отдохнувший голос его теперь звучит ровнее, без хрипов одышки. — Я глубоко штатский человек и никогда не мечтал о мундире. И для меня всякая война — насилие и преступление. Но надо быть справедливым. Знаете, к какому заключению я пришел? Есть войны, которые нужно приветствовать. Возьмите, например, Великую французскую революцию. Рассвирепевший феодальный порядок шел на молодую революцию, и, если бы революционеры Франции боялись ужасов крови, от дела свободы остались бы рожки и ножки.

— Не забывайте одного, — говорю я. — Во всякой войне кто-то борется за какую-то справедливость. Таким образом выходит, что несправедливых войн нет. Вот и теперешняя война. У нас кричат, что мы воюем за попранную Бельгию и несчастную Сербию, которую хотела раздавить Австрия. Как вы назовете эту войну?

Милевский крякает и поднимается. Мы медленно движемся вдоль выпуклого, покрытого густой растительностью, строга.

— Эту войну я назову преступной, — произносит он негодующе, — такой же преступной, как русско-японская. Да, чорт возьми, — говорит он и словно ударяет кулаком по невидимому столу. — Это преступные войны. Народ эпохи Конвента знал, за что он умирает. Основа его, крестьянство, раскрепощенное и получившее монастырские земли, третье сословие, завоевавшее свои права, охотно давали своих сыновей армии. А спросите-ка нашего Савельева, почему его оторвали от земли и погнали на край света? Он вам ответит в лучшем случае: «За веру, царя и отечество». Что он получит в результате этой войны? Новые налоги. Только всего. Мы же с вами, озлобленные, усталые, изнервничавшиеся, потеряем несколько лет жизни. Если бы у нас было Учредительное собрание и выборный по-настоящему строй, этого не случилось бы. Я, конечно, вернусь инвалидом со своим измотанным вконец здоровьем. А за что это? Разве я сторонник нашего правительства и его политики?

Он вздыхает. Галифе, сапоги, тужурка с приподнятой, подваченной грудью нисколько не делают его вид боевым.

— Вот получите отпуск и отдохнете, потом пойдете на комиссию. Вас должны обязательно перевести в глубокий тыл, — пытаюсь я отвлечь его от мыслей о здоровьи, которое его заметно удручает.

Трава тяжелеет и цепляется за ноги.

— У дворян есть подагра, у чиновников — печень, а у хорошего еврея — хороший геморрой, — шутит, на обратном пути старший ординатор. — Эти три тысячи метров не только портят окончательно сердце, они высасывают из меня кровь, как насосом. Придется ставить ихтиоловую клизму,— говорит он серьезней.

На долину ложится тень. Солнце тускнеет и прикасается к силуэту далекой вершины. Кажется, — тихий вечер опускается за околицей.

По дороге, к которой мы направляемся, идут два человека.

Егоровы возвращаются с прогулки. Они разговаривают между собой так тихо, что кажется, будто они молчат; у нее сбоку смутно темнеет ворох цветов, прижатый рукой к груди.

Возле селения мы встречаем несколько санитаров из команды. Они движутся в сторону от дороги и жилья, к тем холмам, которые мы только что оставили. Что-то похожее на винтовки торчит над их плечами. Вблизи это оказывается лопатами.

— Куда, ребята? — спрашивает Милевский.

Один отвечает:

— На земляную работу, ваше благородие, яму копать.

Бородка его мочалистая, а лицо — в красно-пегих, будто от давнего ожога, узорах. Сам он высокий, костлявый, и я узнаю в нем Савельева, того, кто нес как-то бревно и уговаривал другого не ловить галок.

— Яму? — повторяет Милевский. — Для чего?

— Могилку, — поясняет ласково санитар. — Их благородие, давишний господин офицер, как говорится, преставились.

— Только что как будто лучше было и вдруг... Гм, очень уж скоро, — произносит после паузы старший ординатор.

У нашего общежития стоят главный врач и Михин и о чем-то совещаются.

— Вещи надо сдать коменданту, — предлагает заведующий хозяйством. — Вестовой все равно у него на довольствии. С ним комендант и отошлет на родину. У него там жена...

Гонг возвещает час ужина. От кухни движется тень Кеворка с тарелками.

Главный врач рассказывает нам, что Янчевский скончался без агональных явлений, во время морфийного сна, так бесшумно, что санитар ничего не заметил.

Потолок висит над мертвецом, как крышка склепа. Лампочка прикручена и чадит. Лицо поручика спокойно. Два золотых зуба неясно мерцают в оттянувшейся челюсти. Я наношу ему последний визит, затем выхожу на воздух.

Ночь уже упала на землю. Звезды, как разорванное ожерелье, просыпались на небе. В темноте кто-то дважды чихает. Медведеобразная фигура Ельцова плывет мимо. Увидя меня, он останавливается, вынимает платок и сморкается.

— Ваше благородие, — говорит он затем, и голос его полон удовлетворения. — Теперь все, значит, в порядке.

— А в чем дело? — недоумеваю я.

— Как же, — отвечает фельдшер. — Покойнику-то круг не нужон? Теперь Якушев в акурат поправляться будет.

Он снова чихает.

— Вот насморк в самое лето схватил, ваше благородие, — говорит он снова. — Чудно!

И, не торопясь, трогается дальше. Там, где он стоял, белеет что-то, не то письмо, не то курительная бумага, выпавшая из его кармана. Я поднимаю этот листок и при мерцающем свете звезд вижу, что он исписан гектографическим шрифтом.

Мне бросается в глаза верхняя угловая строчка:

«Пролетарии всех стран соединяйтесь!»

ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ РЕКИ ЕВФРАТ

Аракел ждет меня с лошадьми возле дома. Послеобеденное солнце раскладывает по земле длинные тени. Стоит час последней, тонкой синевы неба, потом тишина слетит в долину, приблизится вечер. Надо спешить, чтобы успеть вернуться еще засветло.

Егоров и Михин направляются в канцелярию. В руке черного человека с прядью через лоб зажата пачка бумаг, наряды и доверенности. Заведующий хозяйством, тяжело упираясь в своего спутника взглядом, что-то говорит.

Помощник уезжает в Эрзерум.

Это та самая командировка, которая должна была выполниться мною еще недели две назад и которая все откладывалась.

Я и Милевский знаем истинные причины задержки. Дело в том, что Егоров не оставляет здесь своей жены, а берет ее с собой; теперь Михин находит разные препятствия, мешающие его помощнику отправиться. Он даже пытался настоять на замене его кем-либо другим. Однако главному врачу надоели отсрочки, и кроме того касса госпиталя сильно отощала. Завтра Егоров выезжает. Очевидно сейчас заведующий и Егоров заняты обсуждением последних деталей.

— Паф! Паф!

Винтовочные выстрелы — один за другим — резко гремят в глубине селения, неожиданные среди хрупкого покоя долины, и замирают на той стороне реки.

В эти дни комендант охотится довольно часто; еще немного — и от кошачьего населения, пожалуй, ничего не останется. Можно подумать, что золотоволосый штабс-капитан готовит запас меховых перчаток на несколько лет.

Когда я с Аракелом выезжаем на шоссе, из большой просторной высокой полуземлянки Егорова, поблизости от кухонной ханы, показывается солдат с тонкой талией и странно-моложавым лицом; проводив нас долгим взглядом, женщина пересекает дорогу, направляясь к уличкам селения.

Еще один выстрел коменданта раскалывается за нами. Все это остается вскоре далеко позади.

Аракел уже не денщик. Несколько дней назад он заявил Михину о желании работать санитаром. Его перевели. Произошло это не без моего косвенного участия, так как вначале он обратился за содействием ко мне.

— Какая же тебе нужна помощь?—объяснил я ему тогда.— Иди к заведующему и доложи. На твое место денщика охотники найдутся. А с чего это ты вздумал?

Аракел рассказал мне, что доктор Тинченко им недоволен, ругает его и даже ударил.

— Зачэм ругал? Зачэм бил? Моя нэ знает. Он гаварил: хады, Аракел, на дэрэвна, покупай самий тонкий дюшистый шал, армеянский шал для мой жэна. Подарок посылать будым. Аракэл хадыл туды-суды, цэлый дэн хадыл, тридцать верст хадыл дэрэвна Падшихан. Ничэго нэма дэрэвна, луды нэма, шал нэма. Курды всэ забирал. Што падэлаим? Моя ночи пришел, его бародие сэрдылся, бил по мой щэка. Нэт, моя нэ хочит дэнщик. Лучши на пазыцыи пойдом.

В эту деревню Паджикьян мы теперь и направляемся.

Мне хотелось посмотреть на уцелевших участников армянотурецких распрей, и я взял с собой, с разрешения Михина, Аракела, уже знавшего путь. Аракел, маленький, с узкими плечами, с мелкими чертами лица, собранными в комочек, с графитовыми зрачками, поминутно вспыхивающими, с лимонными отсветами коричневой кожи, покачивается рядом со мной на кобылке, одолженной Милевским, и теперь нет в нем как будто прежней забитости и замусоленности.

Ущелье приближается и втягивает нас, кутая прохладой и гулкостью.

— Ну что, Аракел? — спрашиваю я. — Значит, ты доволен теперь?

Он улыбается и качает головой.

— Дэнщик очин нэкрасивый дэла. Уважэние сэбэ нэту. Сапог чищай, бэлье трязный стырай, всэ за чэловэком, как за рэбенком, убирай. Туды-суды тридцать верст бэгай, шал падаркам искай. Очин плахой дэла.

— Доктор твой, — говорю я о Тинченко, — человек не скверный, только у него беда одна: он очень скучает по своей жене. Любит он ее очень и поэтому стал, в разлуке с ней, очень сердитым.

Тропинка падает вниз обрывом, лошади спускаются, упираясь передними ногами и садясь на зады. Когда дорога выравнивается, Аракел говорит:

— Нэхороший чэловэк столка плоха дэлаит черэз жэнщина. Мой мама имэит, мама очин плакит, што Аракэл нэма, и нэвэста плакит. Мая тожи скучаит, серце гарит, вай как гарит, спать нэ можим. Мая тожи чэловэк, но мая никакого нэ ругаит. Их бародие нэ бьет главный доктар, тэбэ нэ бьет, каптенармус нэ бьет, — это панымаит, што нэлза, а салдата бьет. Зачэм так? Заведущий тожи плоха, тожи жэнщин крэпка лубит, вай, как лубит, туды-суды кричит, а салдата нэ бьет.

— Ну, заведующий—это дело другое,—возражаю я с серьезным видом по поводу Михина. — У него нет ведь ни жены, ни невесты.

— Це, — причмокивает он языком, и глаза его поблескивают. — Ему савсэм хужи, очин крэпка лубит. Савсэм сумашедший стал, как сабачка за нэй ходит, гарит, мужа нэ замэчаит. Вай, плоха ему будит. Очин сэрдытый таспадын памошник, резат будыт.

Мы отклоняемся на боковую тропинку. Дорога суживается, потом взбирается кверху и повисает над речкой, горным притоком Кара-Су. Массивы черно-зеленых и фиолетовых скал сторожат стремительный бег волн. Становится глуше и диче.

Так мы едем больше часа, затем на гребне невысокого перевала показываются гранитные плиты могил, торчками поставленные на землю и образующие низкорослую каменную рощицу. Воздух так чист, что, кажется, его и нет. Безмолвие, как будто извечное, играет стуком копыт.

— Почему здесь хоронят везде у самой дороги? — любопытствую я, вспоминая еще и другие виденные мной кладбища.

— Это мусулман, — отвечает мой гид. — Мусулман так

нада. Каждый, кто идет туды-суды, пускай молится за мертвый. Так нада по мусулманский закон.

Скалы отбегают от реки, тени, распластываясь, бегут за ними, и мы видим наконец серые глинообразные домики, расставленные на широкой лужайке среди красноватого кустарника, дикого кизила и барбариса.

— Пажихан, — объявляет Аракел своим птичьим голосом.— А эта — очин, очин старая, — указывает он на каменную глыбу, смело переброшенную с одного, низкого, берега на другой — крутой.

Очевидно это и есть тот мост, который служил еще аванпостам Александра Македонского и о котором легенды рассказывают, что его камни сцементированы известью и куриным белком. Махина будто бы слопала пять миллионов яиц.

Само селение несколько разочаровывает. Жилища все целы, нет следов разрушения и распрей; только вблизи видно, что жителей мало и строения пусты. Лишь когда мы слезаем с лошадей и проникаем за чей-то плетень, жизнь наконец проявляется: в глубине двора две женщины с армянскими лицами, немолодые, загорелые, сидят на корточках вокруг ямы и возятся с чем-то, напоминающим ржаную муку. У одной седые волосы и темная, как у иконы, кожа. Из земли высовываются языки пламени.

— Лаваш дэлаит, — коротко поясняет Аракел и заговаривает со старухой.

Другая смотрит на меня безучастно, с равнодушием много пережившего и ко всему готового человека.

В этом доме, как и во всех домах здесь, крыша плоская. За неосвещенными сенями, в которых чудится, что вот-вот ударишься ногой или головой обо что-нибудь, и пахнет застоявшимися запахами, оказывается большая комната, разделенная низенькой ковровой занавеской. Свет падает из дыры в потолке. Человек лежит у стены на широкой тахте, покрытой пестрыми палассами. Борода у него длинная, черная и спутанная, лицо резко-желтое, измученное. Он встречает нас взглядом печальных, слегка выпуклых глаз. В щель между ковром и стеной видна лошадиная морда. За перего-

родкой мычит теленок. У Аракела начинается разговор с человеком.

— Савсэм балной, — обращается ко мне солдат. — Кушаит плоха. Был такой-такой багатый, — раздвигает он руки в стороны, — баранта имэл многа, столки-столки, мулы имэл, лошади имэл. Тэпер нычего нэма. Мука мала-мала ест. Дочка ест, сейчас позавом.

Больной, которого, очевидно, мучает печень, получает от меня через Аракела кой-какие указания насчет диеты и поведения. Аромат навоза, голые стены, безнадежная тоскливость убранства чрезвычайно угнетают. О чем мне говорить с хозяином этого разорения? Зачем мне видеть его дочь? Настроение мое внезапно понижается. Слова не приходят, сочувствие, которое можно выразить, кажется фальшивым, самый воздух комнаты давит.

— Скажи ему, — прошу я торопливо Аракела, — что мы их обижать не позволим. А русские уходить отсюда не собираются.

Пока он переводит мои слова, я прощаюсь с армянином кивком головы и выхожу.

Резкое неврастеническое желание покинуть это место гонит меня!

И вот, когда нога уже вдета в стремя, вдруг из-за дома появляются два человека. У мужчины с неряшливой бородой, наполовину седой, верхняя часть лица косо закрыта повязкой, грязной зеленой тряпкой, и край багрового, еще в корках и гное, шрама вспух на щеке. Свободный глаз его смотрит как-то странно и дико, с суровым выражением угрозы и решимости. Человек оборван, бос, и земля зачернелась на его ступнях. Передвигаясь высохшими, как сучья, голенями, высовывающимися из коротких, оборванных штанин, он стремительно приближается ко мне и сразу начинает каркать гортанными и хриплыми выкриками.

— Не понимаю, — мотаю я головой, уже сидя в седле.

Он продолжает настойчиво и громко говорить, и ладонь его, с бурыми кривыми ногтями, изрезанная черными складками, прыгает перед мордой лошади. В этих звуках, чужих и неудержимых, повторяется слово — Сатаника. Он еще раз,

пузырясь слюной, кричит — Сатаника! — и показывает на девочку, стоящую возле него.

«Что ему надо? Хлеба? Помощи? Жалуется он на обиду, на боль, на войну? — думаю я, глядя на его гноящийся рубец. — Но что я могу сделать?»

Наконец приходит Аракел и принимается отвязывать коня от плетня.

Армянин оборачивает на солдата свой страшный одинокий глаз в обильных красных прожилках и опять быстро и, как мне кажется, сердито лопочет. Имя Сатаника попадается снова в его речи. Аракел вставляет короткие реплики, лицо его изумляется, потом хмурится; он что-то произносит, вертит отрицательно головой и берется за поводья. Все звуки с удивительной ясностью разносятся в чистом безветренном воздухе. Небо уже тускнеет. Далекие горы вырисовываются с предвечерней четкостью. В углу двора, не обращая ни на кого внимания, уже знакомые женщины возятся вокруг ямы.

— Чего он хочет? — спрашиваю я нетерпеливо.

В это время еще одно существо огибает угол жилища и направляется к нам. Эта старуха, с волочащимся подолом, вблизи оказывается еще сравнительно молодой; она ковыляет с скорбно застывшим лицом и, подойдя, произносит что-то слабым голосом. Человек с шрамом кричит на нее.

— Нычэво нэма эти луды, — отвечает, морщась, Аракел. — Все пропало ему, все плоха. Хлэб хочит.

Мы оба сидим уже в седлах.

— Скажи ему, пусть придет в Кизил-Чубук, — произношу я.

Женщина поднимает на меня взгляд, ничего не выражающий. Аракел, весь оживляясь, ерзая на своей кобылке, перегибаясь туловищем, говорит длинно ей и мужчине, излагая, очевидно, как меня найти. Под конец тон его становится сердитым.

— Баится, — разводит он руками, и опять морщина ложится на его маленький смуглый лоб. — Очин крэпка баится. Нэ хочит хадыт.

«Не присылать же сюда транспорт с продовольствием.— думаю я. — Ничего, рискнет притти, если действительно хочет есть».

Я тронулся и прошу Аракела еще раз напомнить имя Кизил-Чубуке. В этот момент старик, мелькая черными голыми пятками, нагоняет меня и падает перед лошадью; его повязанное лицо скрывается в пыли.

Лежа на земле, человек кричит что-то на своем языке, и опять слово Сатаника выделяется среди его рвущегося хрипа. Солдат, хмурясь и раздражаясь, соскакивает с седла.

— Тут что-то не то, — говорю я строго Аракелу. Поведение жителя Паджикьяна, неоднократно попадающееся женское имя, его настойчивость кажутся мне несколько загадочными, так же как и недовольство переводчика. — Ты, Аракел, от меня скрываешь... Чего добивается этот человек?

Мой спутник пожимает узкими плечами.

— Этот луды савсэм нэ панымаит тута, — тыкает он пальцем себя в лоб. — Ему самашедший. Дочка Сатаныка вашэй благородие прэдлагаит, — нэгодует он. — Пусть дочка ему спит, гаварит, хлэб за нэе прывозыт.

Показывается новое лицо — высокий, с очень длинной шеей, узконосый армянин в козьей папахе и войлочных чувяках. Наш приезд как бы возвращает постепенно к жизни опустевшую деревню.

— Давраян, — говорит прибывший человеку в пыли. — Давраян...

После длинной фразы он вопросительно оглядывается на нас и останавливается на Аракеде. Вероятно, чутье подсказывает ему, что перед ним соплеменник. Они обмениваются замечаниями, затем оба поднимают старика.

Тот, кто подошел последним, разражается продолжительной речью.

— Ему гаварит мука ест дэрэвна, — переводит Аракел, — толка одна луды прачит, никаму нэ дает, другой луды нэма савсэм. Бэднаку — плоха. Што дэлат будым? Надо забират аднаму, давать каму нэту.

С гор спускается свежесть, небо оседает, грузное, непрозрачное. Девочка, сцепив руки худыми кистями на животе, стоит все так же неподвижно.

— Аракел, — говорю я и указываю на старика с повяз-

кой, у которого теперь грязь лохмотьев запудрилась пылью.— Передай ему, что завтра ты привезешь хлеба, сколько можно будет, и что лучше делать самую тяжелую работу, лучше голодать, лучше, несмотря на страх, притти к нам за милостыней, чем продавать дочь. Скажи ему, что это нехорошо.

— Плоха, — говорит солдат, когда мы отъезжаем от Паджикьяна. — Как многа луды мучиются. Жил, жил, никаго нэ тротал, пришол война, всо забырал. Ай, как плоха. Дочка предлагаит.

Его голос наполняется волнением и печалью.

— Мой нэвэста, — продолжаёт он, — савсэм как этат дочка маладой-маладой и живот в дэрэвна за Нухой. Плоха ему, ждет, када мой приедэт. Дэнги савсэм мала, отэц ему на войне. А мой все ваюй. Зачем мой ваюй?

Я вижу, что Аракел уже совсем расстроен. Чем утешить его?

— Разве тебе не объяснили, — спрашиваю я, — что ты сражаешься за отечество?

Его взгляд испытующе скользит по мне.

— Вашей бародие, — произнес он серьезно, — какой атэчество?

Ирония моего вопроса не доходит до него. Тогда я тоже говорю серьезно:

— Ну, как тебе сказать, отечество — это Россия, страна, где мы живем, вся наша земля, население, словом, то, что называется родиной.

— Зэмла, — повторяет он и медленно качает головой. — Вса зэмла. Вашей бародие, мой раншэ жил дерэвна, сэмдесат ворст от железная дорога. Мой ехал три дэн на станции и видэл земла. Пэрвый ден был зэмла Багиева, балшой хан Багиев, памещик. Второй ден Абухаев, тожи многа зэмла. Третий дэн Мирзаян, Саркисов и ещо разный другой зэмла. А гдэ мой зэмла?

Логика высокого долга пасует перед этим простым рассуждением. Однако простота ли это? Кажущаяся наивность его тирады подозрительна. Она похожа скорее на протест и обличение, которые солдат не считает нужным скрывать

передо мной, перед одним из тех, кто является, может быть, с его точки зрения, хозяином «отечества».

— У тебя отобрали землю, что ли? — спрашиваю я.

— Нэ, ээмла есть, вот такой ээмла, — он раскрывает ладонь и пальцем проводит на ней маленькую окружность. — Ээмла такой, а рот у памэщика вот такой, — он раздвигает обе руки большим кругом. — Памэщик всо скушать хочит, никакой закон ему нэту.

— Надо искать на него управу. Закон для всех равен, — поучительно говорю я. — Ты подавал на него?

Аракел рассказывает как его обидели, ростовщические проценты за взятое в кредит зерно повытянули из его надела все соки. Суд и полиция не оказались на его стороне. Скотину описали, пришлось, в конце концов, отправляться на работу в город.

— Начальства ему лубит крэпка, — говорит он в заключение.

— Вот как лубит. Начальства армэян нэ лубит, грузин нэ лубит, тюрк нэ лубит, лэзгин нэ лубит, а багатых всэх, всякой нацыи лубит. Начальства русский и помэщик армэянский — одна рука.

Дорога, своими пейзажами развертывающаяся, как обратный фильм, приводит нас к ущелью. При виде белых шатров лазарета я глубоко и облегченно вздыхаю. Наконец-то дома.

Теперь мы сдерживаем коней и едем шагом.

— Вашей бародие, — говорит Аракел и показывает вперед. — Вай, что там луды многа!

Действительно, на шоссе перед нашим зданием необычное скопление народа, словно все солдаты, больные и здоровые, весь госпиталь, вся команда бросили свои дела и сбежались сюда. Они налезают друг на друга. И вдруг, уже подъехав ближе, я вижу в самой гуще сутолоки Егорова, свирепого, безумного, рвущегося, связанного и удерживаемого тремя санитарами.

Соскочив с лошади, я хватаю первого попавшегося солдата и встряхиваю его с силой. Длинный санитар с редкой бородкой, что-то бормочет. Он смотрит на меня обалдело.

— Что случилось? — спрашиваю я.

Селение Паджикьян со всеми своими событиями и впечатлениями вылетает у меня из головы.

— Порешил, обоих порешил, — почему-то шопотом говорит, наконец, Савельев. — Враз обоих порешил, как застигнул. Весь револьвер вбабахнул. Вон, — протягивает он руку к развалинам, — там порешил и его и ее.

Толстенькая фигура Милевского проталкивается в толпе, ворчащей сдавленным гулом и вздохами. Как бы ничего не видя, он идет мимо, сутуля круглые плечи.

— Что такое, Наум Абрамович? — кидаюсь я к нему.

Он поворачивает ко мне голову.

— Что такое? Что такое? — повторяет он каким-то мокрым звуком и машет рукой. — Пойдите посмотрите, что такое, — кивает он в сторону рассыпавшихся хан и оставляет меня.

Теперь догадка неоспорима. Я вспоминаю сомнамбулическую скованность, с которой Михин двигался за женщиной. «Больше тебе не придется бороться с природой, Михин» — мысленно говорю я ему.

Разрывающаяся ниточка людей, текущих в переулочек, ведет к месту происшествия. Оно далеко, в самой глуши и заброшенности селения. Светлые сумерки бродят между руинами. У полуразбитой, со снесенным потолком, ханы топчется кучка солдат. Они, уже насытившись зрелищем, расступаются при моем приближении. Я вхожу внутрь. Ноги скользят по расползающейся луже крови. В укромности стенной выемки, похожей на нишу, лежат два тела.

Лицо солдатика, странно-моложавое, женски-тонкое и нежное, облито мертвой бледностью. Одна щека прижата к полу, и распустившийся узел каштановых волос сбился копной над ухом. Одежда его в беспорядке. Рядом, раскинув сжатые в кулак ладони, неестественно изогнулся туловищем другой человек. Слюдяные белки его как будто подмигивают, рот скошен улыбкой, лоб весь в золотой путанице прядей, залит кровью.

Я медленно отступаю.

Это труп этапного коменданта.

Его винтовка, дулом книзу, прислонена в углу.

9

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ

В лазарете происходит пожар.

Вечером, после ужина, я и Милевский сидим у реки на валунах. Еще свежа история с Егоровым, и разговоры об этом событии продолжаются, хотя детали одни и те же, и нового ничего не открылось. Старший ординатор смотрит в бегущую воду и говорит:

— Женщина — это, знаете, хороший дипломат. Ведь вот Надежда Викторовна — умница. Как вы думаете, почему она предпочла коменданта? Ведь около нее своих было сколько угодно: Михин глаз не сводил, Лаптев — красивый, делопроизводитель — наш франт первый. С ним и проще встречаться, если бабенке от скуки нужны были любовные приключения, а вот, подите, выбрала коменданта. Умница. Так было меньше шансов для посторонней болтовни. Ведь комендант, по отъединенности от нас, находится вроде как и не в Кизил-Чубукс.

Краски заката гаснут. Смутно доносятся обычные шумы групповой человеческой жизни; чьи-то отдаленные голоса, замирающее лошадиное ржанье. Вдруг совсем непонятный звук: не то птица, не то треснувшее дерево. Мы сидим спиной к селению, река с неустанным плеском катится перед нами. Меня расслабляет и разнеживает теплая тишина вечера, в сердце проникают желания, мысли становятся патетическими.

— Он ей понравился, вот и все, — говорю я. — Кто чувству прикажет? Какая здесь может быть дипломатия и при чем здесь ум? Она поступила по зову сердца.

Милевский лукаво щурит веки.

— Ну, не скажите. Зов зовом, а политика политикой, — говорит он. — А знаете, каким языком вы сейчас выражаетесь? Языком Шиллера. Тогда как здесь нужен язык бухгалтерии и расчета. Ей было все равно, с кем рвать ужасное однообразие, на которое осудили ее здесь условия. В конце концов она, если хотите, тоже жертва военной обстановки,

жертва войны. Война — это заколдованный круг не только для ее участников, но и для миллионов их семейств.

Мои размышления получают новое направление.

— Заколдованный круг, — повторяю я. — А какой может быть выход из этого заколдованного круга, как вы полагаете?

Старший ординатор перекладывает ногу на ногу.

— Это действительно сложная задача, — отвечает он. — Очень сложная. Что касается теперешней войны, то здесь ничего уже не поделаешь, придется наверно тянуть. Но когда она кончится, то нужно сделать так, чтобы без согласия народа ни одно решение не принималось. Надо изменить режим в стране. Пусть будет, в крайнем случае, как в Англии. Король царствует, но не управляет.

— С этим нельзя согласиться, — возражаю я. — Во-первых, такой принцип не помешал правительству Англии участвовать в этой войне, не спрашивая, конечно, согласия своих народных масс. Правительство объявило, парламент подтвердил, а парламент — это еще не народ. Да, кажется, это было сделано и без парламента. Во-вторых, ждать, пока кончится война, слишком долго. Вопрос стоит так: как немедленно разделаться с этой идиотской, несправедливой, по вашим же словам, бойней. Не находите ли вы, что цели можно достигнуть единственным способом: если солдаты сговорятся между собой, перебьют офицеров, призовут неприятельских солдат к тому же самому, затем свергнут свое правительство, то все будет кончено раз навсегда?

Так я излагаю ему своими словами несколько строчек из прокламации, утерянной Ельцовым, и слежу за впечатлением, которое они производят.

— Тс... Вы с ума сошли! Знаете, чем вы рискуете, если вас услышат?! — пугается он.

— И нужно вам сказать, — продолжаю я, — что нашим солдатам, если не всем, то некоторым, этот единственный способ известен.

Старший ординатор даже приподнимается и оглядывается. Я машинально делаю то же самое. Неожиданно мы видим багровый отблеск, поднявшийся над селением. Зарево разливается по небу.

Б—1456

— Пожар! — восклицает тревожно Милевский. — Неужели в лазарете?

Он семенит рядом со мной, спотыкаясь в сумраке о рассыпавшиеся стены; пока мы добегаем до шатров, пламя уже полыхает громадной шапкой; черным силуэтом выделяется здание нашего общежития. Пожар в обозе, за кухней. Наконец, открывается огненная гора; горит сложенное огромной кучей сено, привезенное несколько дней назад. Озаренные красно-черными отблесками солдаты суетятся, откатывая телеги, угоняя храпящих и бьющих ногами лошадей. Ругань Михина слышна в разных концах. Мы натыкаемся на главного врача.

— Разве это люди? — говорит он в отчаянии. — Это чорт знает что. Сжечь сено! Ну, чего ты вылупился! — набрасывается он на Савельева, стоящего неподалеку с лопатой в руке. — Иди помогать.

— Как это случилось? — спрашивает доктор Милевский.

— Разве узнаешь теперь? — ожесточенно отвечает Василий Степанович. — Курили, должно быть, и бросили окурок, не потушив. Совсем безмозглый народ, не понимает, что делает. Свое же сжигает. Дикари!

Все освещено как днем, за пространством света ночь плотно стоит непроницаемой стеной. Из мрака выбегает Михин.

— Нет, — говорит он, тяжело дыша. — Ничего не получится. Сгорит все, как спичка. Ну, пусть мне только попадется виновный! Завтра же с утра начну дознание. Это так не пройдет. Ведь весь лазарет к чорту мог сгореть, если бы ветер.

Возле нас держится Фокин со своим подхалимским видом. В руках у него узел церковных вещей, которые он тесно прижимает к себе, как бы показывая, что он готов их оберегать собственным телом.

— Так точно, ваше благородие, господь не допустит, — подобострастно поддакивает он. — Народ наш непутевый. Я, ваше благородие, примечаю.

Треща, поднимается огненный факел искр, усеивающих черное небо. Кто-то, очевидно, ворошит горячую копну. При

Б—1456

виде разлетающегося точечного веера Михин подскакивает, как ужаленный.

— Скажи этим сволочам, чтобы перестали сейчас же, — кричит он Фокину. — Я велел растаскивать, а они игру, что ли, затеяли. Вот мерзавцы!

Мы бродим среди тюков, ящиков, всего громоздкого госпитального имущества, среди подвод, вокруг которых обозные и санитары с палками и мокрыми тряпками бегают в погоне за тлеющими кусками сена, садящимися, словно большие красноватые насекомые, на землю и на предметы. Мимо проходит, косолапо выворачивая колени, Ельцов; доктор Милевский просит его посмотреть, все ли блатополучно в палатах. Фельдшер, нахмуренный, медлительный, проваливается, мелькнув розовыми сапогами, в темноту, как в яму.

Зарево начинает стихать. Языки укорачиваются, становятся видными звезды над селением. Я оставляю пожарище, чтобы, сделав круг, пройти вдоль шатров и убедиться в их безопасности. На шоссе тихо, руины, чуть выступая из сумрака, молчаливы. Вдруг где-то близко слышны короткая брань и возня.

— Не вяжись, сволочь, будешь помнить! Получай!

Затем шум сменяется стуком и вскрикиванием. В переулочке раздается быстрый топот ног, кто-то убегает. Притушевшаяся тень человека проносится мимо меня и исчезает. Потом показывается фельдшер. Не замечая меня, он бормочет озлобленно:

— Десятому закажешь, гнида, я тебе покажу шпионить.

— Ельцов, — окликаю я его. — Что вы тут устраиваете?

Фельдшер останавливается, темный, большой, широкий, словно сросшийся с землей и ночью.

— Да это, ваше благородие, разговор промеж нас был, — невозмутимо отвечает он своим гудящим голосом. — Вещица у меня одна пропала, а этот крутится возле, я и опросил его по-хорошему.

У меня острый интерес к Ельцову. Мне хочется с ним поговорить и сказать, что вещица, которую он ищет, у меня, но я сознаю сложность отношений, которые должны за этим возникнуть. Мучительная неловкость связывает мой рот.

— Ну, ладно. Ступайте, — наконец произношу я небрежно.

Мы расходимся. При возвращении к себе я застаю в нашем общежитии главного врача, Михина и санитара Фокина. Всегда угодливое лицо солдата теперь искажено обидой, и под глазом намечается опухоль.

— От него, ваше высокоблагородие, все и приключилось, — говорит Фокин, глотая слезы. — Смутьян он самый главный, всю команду сбивает с присяги. С ужина собираются ребята к сену, цыгарками попыхивают, а он все про власть и войну. Социалист, ваше высокоблагородие, Ельцов-то, и народ смущает насчет царского дому и чтоб начальство не слушать. И пожар приключился от ихних цыгарок.

Милевский, снимающий, готовясь ко сну, сапоги, смотрит на меня снизу вверх. В этом выразительном взгляде я читаю долгий, пытливый вопрос. Моя тирада о солдатах, знающих, как кончить войну, пожалуй, начинает казаться ему понятной.

10

ДУША НИЖНЕГО ЧИНА

Проходит июль, проходит август, однако это не приносит никакой перемены. Мы зацепились за Кизил-Чубук и не двигаемся с места. Где-то впереди, верст за сорок или пятьдесят, турки оказывают упорное сопротивление и защищают позиции, прикрывающие спуск в Месопотамскую низменность. Раненые чаще всего упоминают какую-то Сахарную гору. Это невинное название связано с безуспешными атаками и ужасающими потерями.

Стоит начало сентября; попрежнему зной дрожит над землей; небо сине; пушистые облака плывут в высоте, не давая тени. Только утра становятся чуть прохладнее, и река на заре кажется темнее и строже.

Сейчас, очевидно, разгар боев. Мы задерживаемся с работой иногда до позднего вечера, пока не потухнет закат.

Раненых подвозят не только осетинки. В горах, должно быть, проложили путь от позиций и теперь прибывают также двуколки красного креста. Их полотняные верха, при-

ближаясь, ныряют в далеком кустарнике, как фуртоны боэров Майн-Рида.

В эти недели через долину двигаются войска, пополнение за пополнением. Они забивают продавленное, размотанное шоссе толпами, утерявшими строй, бредут, закинув винтовки дулами книзу, как ленивое стадо без присмотра. По одежде, по виду можно представить себе, какой бесконечный марш они совершают, высадившись из вагонов на последней железнодорожной станции.

Если дело к вечеру, долина усеивается пирамидками палаток. Солдаты с бивуаков забегают к нам иногда за разной разностью: за щепоткой соли, перевязать натертую ступню, за иголкой. Молодых среди них мало; большинство — поздние возрасты.

Утром никого уже нет. Смятая трава, обгорелый хворост, пепел кучками, жестянки, удушающие испражнения,— это все, что остается от привала.

Иногда кой-кто застревает у нас. Солдат с санитарной повязкой, с фельдшерской сумкой приводит бледного, скрюченного человека.

— Схватило, — объявляет он. — Дизентерия, должно быть. Примите. Вот и бумага.

Серая пыль лежит на их лицах и сапогах.

Госпиталь переполнен. У нас ощущается недостаток медикаментов, перевязочного материала; белья остались мизерные запасы, и оно уже не выдается. Даже с продуктами туговато. Хлеб отпускают только больным. Персонал пользуется галетами, твердыми, как кремни. Милевский долго размачивает каменные кружки сухарей. Он боится сковырнуть свою вставную челюсть.

Работа наваливается на нас. Мы все немного раздражены. Только отец Цинцадзе попрежнему невозмутим.

Когда мы за чаем, обжигаясь и давясь, торопимся, он прохлаждается, зевает, заговаривает с нами. У нас умирают теперь каждый день, но у священника дела не прибавляется. Он отпевает только по воскресеньям; в будни же усопшим предоставляется попадать в царство небесное самостоятельно.

Мы не только не можем дать больному смену белья, но из-за каждого клочка платья подымается скандал. Когда осетинки нагружаются эвакуируемыми, отправляемыми дальше в тыл, голос Михина особенно свирепствует.

— Под суд отдам! — распекает он уже третьего или пятого. — В инвентарной книжке гимнастерка числится, а где она? Откуда мы тебе достанем гимнастерку? А вот этот и книжку свою задевал неизвестно куда.

Из солдат многие прибывают полураздетыми, а дальше их отправить в таком виде лазарет, конечно, не может.

— Ты что ж с казенным добром сделал? — гремит Михин. — Ты знаешь, что за это полагается, за казенное имущество?

— Не могу знать, — запинаясь, отвечает провинившийся. — По болезни... в беспамятстве... так что сняли...

У нас уже есть дизентерики, и развивается брюшняк. К счастью, родниковая вода так чиста, что холера невозможна.

Зато, по мере того как лето идет на убыль, вшивая опасность становится все страшнее. Приходится опасаться появления сыпняка.

Мы ждем его в любой день.

Пользуясь каждой теплой минутой, солдаты охотятся за насекомыми.

Они трясут свою одежду, вылавливают добычу из складок швов, никого не стесняясь.

— Смотрите, — указывает мне как-то Тинченко на трех больных, сосредоточенно предававшихся этому делу, — вот вам вся душа российского нижнего чина. Придет время, кончится война — и начнут писать о солдате. Одни напишут, что солдата воодушевляла любовь к родине, другие, наоборот, будут говорить, что его одолевали тяжесть войны и мысли о том, как бы от нее избавиться...

И вот страшный гость приходит незаметно, во время работы, увеличивающейся с каждым днем, и первой жертвой он выбирает Федора Полуянова.

Около этого молодого парня я всегда задерживаюсь дольше, чем у других. Кроме всего прочего, он очень приятен

своим неизменно хорошим настроением. История болезни Полуянова не совсем ординарна для лазарета.

Левая рука его, когда он был доставлен, представляла у локтя комок размозженных тканей, в которых застряли отбитые частицы костей. Теперь он почти поправился, удалось обойтись без ампутации, что при наших условиях почти чудо.

У него круглое, в румянце, лицо, льняные волосы, нежная кожа; серые глаза искрятся, слова легко сыплются из него, и к чувству удовлетворения, которое он вызывает во мне, примешивается до некоторой степени гордость за спасенную руку.

— Ничего, ваше благородие, — отвечает он сегодня на обычный вопрос о здоровьи, — ничего, все в порядке. Ворочать-то еще трудновато, это верно, да после срока, думаю, образуется. Мне бы, ваше благородие, в поправку надо бы домой, вот оно в акурат и обернулось бы.

Губы его складываются в просительную и в то же время застенчивую улыбку, а глаза светятся. Об отпуске мечтают здесь все. Однако блеск его зрачков кажется странным.

— Конечно, — соглашаюсь я, — без отпуска ты не обойдешься. Тебе обязательно должны дать месяца полтора.

— Правильно, — говорит он и делает паузу, точно набираясь сил. — Мне бы только повидать своих, а потом опять долг сполнять можно. Когда же, ваше благородие, можно будет в отбывку? Ведь время-то сейчас самое подходящее по хозяйству; косьба и молотьба подходят. Старик у меня уже никудышный, одно только наименование, что мужик, а духу в нем никакого. Годами больно возрастный, а остальные — бабы с махонькими.

Пока он высказывает свои соображения, я беру у Ельцова больничный листок и делаю отметку: «Рана гранулирует. Кровянисто-гнойное отделяемое. Сделана перевязка. Общая слабость. Анемичен».

Полуянов продолжает говорить, но уже не смотрит на меня.

Его взгляд становится жадным, почтительным и в то же время как бы пронизывающим бумагу, содержания которой

он видеть не может. Можно подумать, что больничный листок, переходящий из рук Ельцова в мои, заключает в себе величайшее таинство.

Больничный листок! Заполнение изо дня в день этой плотной, шероховатой, четырехугольной карточки составляет самую скучную обязанность врача, которая в конце концов так надоедает, что не затрудняешь себя больше выбором слов.

Пользуешься сцеплениями привычных фраз. Все это, пожалуй, можно извинить, если вспомнить, сколько тысяч раз приходится повторять одно и то же.

Дело однако в том, что в результате все эти слова дают известный эффект. Комиссии устанавливают необходимость отпуска на основании длительности и тяжести заболевания. От того, сколько раз и на каком протяжении ординатор, ведший больного, засвидетельствует малокровие, упадок сил, истощение организма, зависит не только срок отдыха, но и сама нуждаемость в нем. Солдаты это знают. Слово, которое мы пишем походя, автоматически, не задумываясь, для них звучит необычайно весомо. Оно может быть вестником надежд. Иногда оно обрывает всякое упование.

Котда обход кончается, больные облепляют фельдшера. Каждый хочет знать, что о нем написано. Они стремятся проникнуть в свой жребий. Записи размножают радость и сеют огорчения. Вообще не полагается никому читать то, что заносит врач в больничный листок, но Ельцов нарушает правила. Я это знаю и молчу, делая вид, что ничего не замечаю.

Полуянов скребет темя, одолеваемое вшами, и с натугой вздыхает.

— Жар у тебя, Полуянов, что ли? — говорю я.

Он откидывается и испуганно улыбается.

— Никак нет, ваше благородие, — отвечает он, бодрясь. — Откуда? В голове только маленько недужит, а так — ничего. Мне бы на поправу поскорей, а там все бы наладилось.

Я ставлю ногу между ним и его соседом, мохнатым казаком с клочковатой бородкой, и, подавшись вперед, кладу ладонь на грудь Полуянова.

Под рукой проходит жаркая мягкая волна. Человек весь горит. Я оттаскиваю к его шее сорочку, всю в заплатах и швах, и нагибаюсь над животом так низко, что почти погружаюсь в сырой, распаренный запах тела. Несколько красных точек, подобных комариным укусам, показываются на тусклой и бледной коричневости кожи в том месте, где под реберной дугой намечается ложбинка.

Розоватость пятен пропадает под давлением пальцев, потом снова появляется. Сомнений нет. Я нажимаю живот у левого подреберья и тотчас ощущаю под ладонью скользящий рог селезенки. Все это длится секунду. Беспокойство продавливается на массивном лице Ельцова.

— Так ничего себя чувствую, — говорит Полуянов, сухо дыша на меня. — Мне бы только, как плечо малость стянет, так сразу бы и на поправку, — опять повторяет он.

— Постараемся, — отвечаю я, и мой голос долетает ко мне чужим отзвуком.

Я беру у Ельцова больничный листок и вписываю в него два слова:

«Сыпной тиф».

11

БЕЗ СОВЕСТИ

Главный врач стоит возле последней подводы и совещается с Милевским. У старшего ординатора лицо полно любопытства, брызжущего из узких щелей глаз, сдавленных плотными комками век. К ним подходит еще несколько человек из команды. В черном отверстии канцелярии показывается делопроизводитель и тоже направляется к обозу.

В арбах скручено несколько турецких солдат, подобранных русскими санитарами. Кровь запеклась на их повязках. Ничего фаталистического, восточного нет на этих лицах. Они устали и хотят хлеба. Все глазеют на человека с саблевидным носом, загибающимся над ртом. Ему не меньше пятидесяти лет; черная борода падает на голую, с четками ребер, грудь, замотанную у шеи марлей. Его сухую голову фана-

тика обвивает фисташковая шина чалмы. Он серьезно ранен в плечо. Подозревают, что это мулла, из религиозной ненависти к христианам занимавшийся добровольно шпионажем.

— Их надо отправить дальше, — говорит главный врач Милевскому. — Что мы с ними будем делать? Это обуза для госпиталя. У нас и так перевязочного материала кот наплакал.

Старший ординатор вздыхает.

— Вид у них, конечно, очень неважный, вообще говоря, — мямлит он. — Но что значит — оставить у нас? Всего каких-нибудь два дня. Пусть передохнут, подкормятся.

От арб доносится стон.

— Нет, не к чему, — обрывает главный врач Милевского и направляется к подводчикам, сидящим у стены. В тени нашего дома, осеняющего клочок пространства возле себя прохладой оазиса, осетины, ритмично двигая бронзовыми челюстями, едят лаваш и колбасу, наперченную, твердую, как копыто.

Главный врач вступает с ними в беседу.

— Часа два отдохнете и поезжайте. Раненые получат сейчас обед, и на руки им выдадим в дорогу хлеба. До Башкея не далеко, два перехода. Там и сдадите в госпиталь.

Поднимается галдеж. Осетины кричат, не переставая жевать.

— Нечего! — останавливает их главный врач и шевелит строго донкихотовскими усами. — Вы обязаны подчиняться.

— Турки совсем лишены совести, — тихо говорит мне Милевский. — Как вам нравится? Мало того, что они наши враги, они покушаются еще переполнить лазарет.

Длинный и черный, как будто поджаренный, человек вскакивает и брызжет хлебными крошками. Он отчаянно жестикулирует над головой главного врача.

— Нэ повэзем. На, стрэлай! Что говоришь? Душить нас будышь? Бэри все. Бэри! Куда повэзем?

Он порывисто хватает главного врача за рукав и тянет его к телеге.

— Пасматри, что за чэловэки. Он подыхать будить. У Чиран один уже помирал на арба. Куда повэзем? Не повэзем. Стрэлай, нэ повэзем!

Его белая войлочная шляпа, сорванная одним темпераментным движением, взлетает и хлопается о землю. Все остальные хором возбуждения поддерживают его и усиливают крики. Эти люди измотаны бесконечными повинностями, наложенными на них армией. Главный врач понимает, что ничего не добьется, уступает и возвращается к Милевскому.

Топот, похожий на выстрелы, задерживает его.

По дороге, поднимая пыль, бежит вороненого цвета жеребец; у него мощный круп, сизо-кровавый белок черного глаза сверкает. И имя ему придумано подходящее: «Чорт». Грузный Михин врос в седло и сжимает коленями бока коня. Заведующий хозяйством не доезжает до нас, сворачивает и тем же галопом скрывается за домом.

Главный врач кричит ему вслед:

— Ну, как? Купили?

Пронзительно-густое, с гулкими выдохами, ржанье жеребца отвечает ему.

— Придется оставить у нас, — недовольно говорит главный врач, показывая старшему ординатору на турок. — Но к кому же их положить? Прямо под открытое небо класть их, что ли?

Появляется Михин, потный и торжествующий.

— Две хаты купил в Чанаке, — вмешивается он. — Когда разрешите, Василий Степанович, послать ломать их?

Милевский подзывает фельдшера и распоряжается разгружать осетинки. Санитары с носилками окружают обоз.

— За сколько? — интересуется главный врач.

— По полтораста, — говорит Михин. — Меньше не отдали. Надо завтра посылать людей вывозить сюда.

— Да, завтра с утра обязательно, — соглашается Василий Степанович.

— Потеснитесь немного, — обращается ко мне главный врач, когда я подхожу к нему, и кивает в сторону турок. — Придется взять их вам к себе в палату.

В его словах торопливость, которая должна, очевидно, предупредить мое возражение.

— Василий Степанович, — говорю я, — у нас в госпитале сыпной тиф.

Он молчит и моргает светлыми ресницами, растерянность повисает на его тараканьих усах.

— Сыпь типичная, — добавляю я. — Сегодня очевидно пятый день болезни. Первый, правда, случай, но у Полуянова вши. Вши у всех. Через две-три недели свалится вся палата.

12

НАДО УВАЖАТЬ ДУХ СОЛДАТА

Гассан направляется ко мне. Его лицо маленького неаполитанца улыбается, он говорит:

— Паша-дохтар...

За ним топчется мужчина с ребенком на руках. У четырехлетней девочки щеки в слоистых размывах давней грязи. Ее ресницы залеплены гноем, веки крепко сжаты.

Гассан объясняет мне, что Феюла, дочь Ахмаллы, больна и он уговорил отца обратиться ко мне за помощью. Курд наклоняет свою голову в повязке из тряпок.

— А мать у девочки есть? — спрашиваю я своего приятеля.

Гассан отвечает, что женщина боялась спуститься с гор к неверным.

Несколько капель лекарства, впущенного в глаза девочки, вызывают бурю с ее стороны. Она визжит, захлебываясь, бьется в руках. Склера ее красна, как сырое мясо. К счастью это не трахома.

Ахмалла двигает бородкой и усами в знак благодарности, бормоча и кланяясь. Переводчиком служит Гассан. Затем мальчик от себя произносит что-то такое, что выходит за пределы обычных наших фраз и что остается непонятым мною. На его лице выражение ожидания.

— Михин, топоча сапогами, спешит в цейхгауз и проносится мимо, громоздкий, неуклюжий, с расстегнутым воротом.

— Через час мы отправляемся, — успевает он крикнуть мне. — Если подведете и на этот раз, то — конец.

Он напоминает мне об охоте, на которую мы сговорились итти после обеда. Это уже не впервые мы собираемся, но

всегда впутываются какие-то дела и в последнюю минуту срывают затею. Сегодня, однако, я настроен решительно. Надо только во-время освободиться — обежать больных сейчас же вместо вечернего обхода. Поэтому я прощаюсь с Гассаном и произношу на всякий случай:

— Хорошо, Гассан. Ну, до свидания.

Гассан нескрываемо рад. Он говорит:

— Яхши, паша-дохтар.

В палатках пахнет не то карболкой, не то дегтем. Это знаменитый крезолан, отброс нефти, который ранее служил для поливки мусорных ям и на который возложены теперь все наши надежды. Мы прыскаем им, в разбавленном виде, белье, орошаем все закоулки, и даже сами мажемся этой отвратительной, с зеленоватым отливом, жидкостью. Сейчас, когда сыпняк уже сшиб десятки наших больных и людей из команды, крезоланом залита чуть ли не вся территория лазарета.

Мы, признаться, в него верим мало, но он дает все же видимость борьбы с эпидемией, и неуспех мы стараемся объяснить отсутствием смен белья у солдат, скученностью, поступлением новых, еще не обработанных партий, истощенным организмом заразившихся.

Кроме того осуществляется до некоторой степени изоляция. Наиболее уцелевшие и крупные ханы наскоро приведены в кой-какой порядок; руины мы подпираем оглоблями из обоза и декорируем брезентами; в несколько часов создаются стены и крыши. Мы издаем крики радости, как потерпевшие крушение при виде острова, когда из развалин поднимаются строения: три небольших барака для сыпняка, два — для дизентериков. В одной гессенской палатке теперь оставлены только раненые, в другой — больные, не грозящие соседям заражением.

Ельцов уже не сопровождает меня. Он переведен в палату Тинченко на смену заболевших, один за другим, двух фельдшеров. Может быть это перемещение не совсем служебного порядка, оно как бы осуждает до некоторой степени меня, потому что я высказался против принятия, в связи с пожаром и доносом Фокина, репрессий к Ельцову, и дока-

вывал, что добросовестность работы Ельцова должна быть учтена. Мне и Милевскому удалось его отстоять. Все же мне кажется, что именно после этого главный врач решил убрать от меня Ельцова.

Со мной ходит теперь красавец Лаптев. До прибытия затребованного фельдшерского пополнения он один должен обслуживать и операционную и палату. Его желто-светлые глаза попрежнему наивны и безмятежны.

Я пользуюсь каждым случаем, чтобы прочитать ему лекцию о пользе крезолана.

— Так точно, — соглашается он со мной. — Вчера целый котелок извел на споднее. Пользительная штука, — крутит он русой головой; его выхоленная борода солидно движется по краю халата, — только больно уж духовитая. — И, как бы усыпляя мои сомнения, добавляет: — не любит ее насекомое.

В мутном свете палатки расстилается от средины одной стороны до входа пустое пространство.

— Здесь ведь турки лежали? — удивленно развожу я руками. — Куда они делись? Не далее, как утром, я их осматривал.

— Так что, вынесли, — отвечает Лаптев.

— Куда?

— За палатку. Их высокоблагородие приказали, главный врач.

— Почему?

Фельдшер смотрит на меня ясными глазами.

— Так что, говорят, не полагается вместе содержаться. Недовольство может приключиться.

— Давно был здесь главный врач?

— Под самый обед. Часа два назад, как перетащили.

— Провались они, — говорит около меня чей-то голос. — И чего только возжаться с этими нехристями-душегубами? Русскому солдату и то солоно приходится, а тут супостата поют и кормют, тратятся на них. Нас, ваше благородие, и то не каждый день перевязывают. А русский солдат — защитник царю, отечеству.

Усатое ефрейторское лицо Голобородова глядит на меня

снизу. У него развороченo бедро шрапнельным осколком. Когда его привезли, он требовал отдельного чистого помещения, потом — кровати с матрацом, потом — белого хлеба, потом еще чего-то. Передавали, что он бывший жандармский унтер-офицер, пробующий и теперь покрикивать на раненых.

— Их, собачьих сынов, оставить, пущай подыхают, — поддерживает еще кто-то.

— Молчать! — срываюсь я и топаю ногой. — Что это за безобразие!

В палатке становится тихо. Меня впервые видят таким. Но вспышка замирает, как зубная боль.

Невысокий худой солдат Якушев, едва не съеденный пролежнями и дожидающийся теперь отправки, поднимается в глубине шатра.

— Ваше благородие, — говорит он, — не мешает нам турка никак. Чего нам таиться: только двое-трое бунтуют против них.

— Это наверно ошибка, — обращаюсь я к фельдшеру. — Переведите их сейчас же обратно.

Маленький санитар Аракел, дежурящий сегодня в наряде, негодующе причмокивает:

— Це, це. Зачэм нэ понимал, што ему чэловэк? Его начальства посылал, нэ сама шол. Гдэ жэна, гдэ дом, гдэ мама? Что ему, что моя, что твоя — никакой вина его нэма.

Голобородов исподлобья смотрит на Аракела, и лицо его полно презрения.

Главный врач сидит за столом со своими бумагами, и в комнате никого нет. Перед ним большая глиняная миска с только что сорванными цветами.

На мои шаги он отрывается от бумаг.

— Ах, это вы, — произносит он, щурясь с старческим послеобеденным добродушием и мягкостью. Взгляд его передвигается к цветам. — Извольте-ка видеть — полей раскошный дар. ... Я нашел уголок, не тронутый еще осенью.

— Василий Степанович, отдавая распоряжения по моему отделению, без согласования со мной, — говорю я сумрачно, — вы меня ставите в такое положение, когда я не могу отвечать даже за тот минимальный порядок, который еще допустим в наших условиях.

— Не понимаю вас, — удивляется он, глядя снисходительно поверх очков.

Седая узкая бородка качается передо мной в тумане.

— Для всякого врача, даже военного, — говорю я неестественно тихо, — существует простая человеческая этика. Выбрасывать больных, хотя бы и турок, из палаты, особенно при наличии, пусть и кратковременном, свободных мест, — мера, ничем не оправдываемая. Я прошу отменить ваше распоряжение.

Теперь главный врач смотрит на меня в упор.

— Лев Семенович, — произносит он строго, — надо уважать патриотический дух русского солдата. При посещении мной палаты больные выразили недовольство соседством врага.

Я вспыхиваю.

— Недовольство солдат? Вы прислушиваетесь к недовольству солдат? Так позвольте вам доложить, господин главный врач, что солдаты еще многим другим недовольны. Они недовольны тем, что их оторвали от семейств и хозяйство их гибнет, и тем, что они лежат здесь в скотских условиях и их заедают вши и тиф их убивает. Вероятно, они недовольны и тем, что их заставляют воевать. Да мало ли еще чем они недовольны! Вы прислушались не к тому недовольству и не к тем солдатам, к каким нужно. Василий Степанович, я прошу разрешить поместить обратно турок. Если это не будет сделано, позвольте мне сегодня же подать рапорт о переводе в полк.

Дерзость моего тона вероятно кажется главному врачу неслыханной, но последние слова попадают в самое больное место, настолько чувствительное, что здесь уже не до выговора.

Дело в том, что в полках нашего района ощущается острая нехватка врачей, выбитых эпидемией, и меня, конечно, тотчас перебросят на позиции. Получить заместителя в скором времени лазарету будет не легко. При наплыве больных — это зарез.

— Горячи вы больно, — наконец, произносит он примирительно. — Я и сам в свое время все это близко к сердцу принимал. Вы вот кипятитесь, а спросите у них, у этих ва-

ших пленных, хотят ли они обратно в палату? Вряд ли. Им самим тошно лежать с нашими солдатами. Хорошо ли, когда те на них волком смотрят. Поверьте, вы им оказываете дурную услугу. А впрочем...

Он машет рукой.

— Как хотите, пожалуйста.

Вскоре после этого разговора я наталкиваюсь на Михина.

Около гессенской палатки, а затем между ханами, ныряет высокий взлохмаченный человек с берданкой через плечо и с двухстволкой в руке. Увидев меня, заведующий хозяйством кричит во весь голос: — Я вас ищу. Торопитесь!

13

АРАКЕЛ ТЕРЯЕТ ВЕРУ В ИСКЛЮЧЕНИЯ

Я сижу у Лыськова перед входом в землянку. Мы мирно беседуем. Пещерной прохладой веет изнутри, под защитой потолочного настила не жарко. Хочется кваса с плавающей изюминкой, колющего в горле и пахнущего дрожжевым перебродом.

Лыськов перебирает патронные сумки, и левый глаз его прищурен; он как художник подыскивает цвета, оттенки, одинаковую плотность и толщину кожи. У него, словно у кентавра, верхняя половина туловища, высунувшаяся из землянки, светлая, нижняя — темная.

— Хороши будут, ваше благородие, — говорит он, откладывая два новеньких, с коричневым отливом, подсумка. — На их все гляделки проглядите. Красивше будут.

Лыськова, нашего шорника, промышляющего в свободные от наряда часы обувными делами, окружает несложный сапожнический мирок: деревянные гвоздики, шила, зубчики. Ему, подстриженному в скобку, нехватает только тесьмы на волосы.

— Вам деньги вперед? — спрашиваю я, договорившись о заказе на пару комнатных туфель.

— Нет, зачем же, ваше благородие. Работу сдадим, тогда пожалуйте. Два рубля можно погодить.

Здесь спокойно и как-то обжито; из землянки тянет на-

Б—1456

лаженным солдатским уютом. На стенке, в темноте, белеет полотенце, повешена шинель, в глубине неясно кучится широкая, на несколько человек, лежанка из травы и соломы, прикрытая одеялом. Небольшой поворот головы — и встают на том берегу дальние вершины; шагах в двадцати высится наш дом, а впереди — долина, бегущая к холмам. Через пустырь, у разгруженных телег обоза, лошади возятся с овсом и половой; отдельно привязан михинский «Чорт». Тени, длинные, предвечерние, становятся еще тоньше, еще расплывчатее.

Лыськов ловко строчит дратвой: он делает кому-то бурочные сапоги. Коричневый шрам, похожий на засохший след топора по дереву, то стягивается, то распускается над мышечными пучками предплечья. Мизинец его парализован, ладонь искривлена.

— Где вас хватануло так, Лыськов? — показываю я на рубец.

— Этта? — отзывается он. — Этта была дело в Саракамышах, ваше благородие, с год назад дело было. Здорово нас тогда пужанул турок. Я яво, турка-то, и не видал, а он вишь как меня саданул.

— Саракамыш? — говорю я. — Как же, помню. А сильный бой был?

О Саракамышском прорыве в свое время много писали. Уже был взят Эрзерум, когда за двести верст от него в тылу с гор посыпались турецкие войска на русский город.

— Никто яво и не ждал, — рассказывает Лыськов, слюнявя конец нитки и суя в бурку, в отверстие, проделанное шилом. — Наши уж далече наперед ушли, за Эрзерум, почитай, подались. И откелева он взялся? У нас в батальоне уж отвечеровали, кто гуторил, кто песни спевал, кто так про себя задумался. И вдруг — бац, бац! — из орудиев бьют. — «Тю, — говорю я земляку, — чего это за игрушки на ночь глядучи. Начальство, что ли, встречают?» — Надысь приезжал командующий, так, рассказывают, били в ознаменование из батарей. Только это самое я подумал, как во дворе вдарило в угол, грохнуло, и стекла все к чорту. Ну, тут и поднялась кутерьма.

Б—1456

Лыськов, продолжая строчить, рассказывает о том, как батальон, собравшись и обходя железнодорожную насыпь, пошел на турок, как портянка, неладно впопыхах навернутая, терла пятку, и он, Лыськов, только что собирался присесть и переобуться, а в это время его кто-то тронул за руку. Он на ходу осмотрелся и удивился: все бегут вперед, никому будто до него дела нет, а толчок был. И тотчас же боль рванула его в том месте, где только что тронули. Рука сразу загорячела. Он бросил винтовку, схватился за плечо и пошел обратно к станции, блуждая в темноте по сугробам.

К нам подходят еще несколько человек из команды и слушают. Потом своей неповоротливой походкой приближается Ельцов и с ним Аракел. Этот маленький чернявый санитар и медлительный фельдшер стали неразлучными. В свободные часы они всегда вместе.

— И какой он, этот турок, — говорит Лыськов, — я так и не видал, а рука вот попортилась. Выпустили мине из госпиталю, и стал я негожий к строю.

Лошади поднимают отглушительное ржание и визг.

Вечер расплывается по долине.

Один из подошедших, длинный санитар с бородкой, Савельев, закуривает и, опираясь на балку сруба, смотрит на всех веселыми глазами.

— Ты на-ево землю прешь, голубь, вот он тебе по шее и дает, — насмешливо замечает он и неожиданно смеется.

Низенький косоплечий солдат строго говорит ему:

— Не солдатское это дело рассуждать. Войну воюем, так нечего тут суропиться. Может турок и ничем меня не обидел, а может голову нам всем сорвать хочет.

— Это верно, — меланхолически отзывается санитар с страшными бровями на мелком пугливом лице. — Нашему брату нечего нос задирать, надо смотреть под ноги, как бы не оступиться. Война — это дело агромадное. Тут, значит, стой все за одного, один за всех.

Сзади кто-то откашливается и говорит:

— У нас в полку у батальонного, капитана Верховского, имения, почитай, пять тыщ десятин и фабрика, а у меня три десятины, да и те не родют. Какая ж мы друг другу ровня?

— Домой надо тикать, — вставляет, будто нехотя, украинец Михайлюк, санитар с угрюмыми, словно невыспавшимися глазами.

Лошади опять пронзительно ржут.

Лыськов, не поднимая головы, шьет, его руки ритмично скользят в сторону раз за разом. Я притворяюсь увлеченным работой шорника и не обращающим внимания на разговаривающих. Удается ли этот маневр, или команда вообще стала меньше стесняться, но Михайлюк произносит реплику, не понижая голоса, и беседа продолжается.

За землянкой падает протяжно-музыкальный стон, слабый и нежный, и тотчас появляется Мешков, аптечный санитар, худой и прыщавый, с изможденным и все-таки наглым лицом. У него в руках гармоника.

— Вы чего как петухи на насести? — говорит он. — Баб вспоминаете?

Он садится на порог и спускает, как в яму, ноги на ступеньки. Перебор гамм, настраиваясь, бьется в стены и низкий потолок.

Косоплечий санитар, запутывая слова в звуках гармоники, говорит:

— Присягу присягал, значит, воюй, такое солдатское дело.

Наступает пауза, звуки гармоники отрывочны и тихи. Аракел шевелит губами.

— Це, — причмокивает он. — Ваюй, ваюй, всо ваюй, а полза кому? Наш город Нуха адын тарговец ест, Энчинжинов, такой балшой дом имэит, моя ему магазин служил. А когда моя пабывка пришол, уже два дома имэит. Моя здесь пропадай, его там дэньги сабирай. Лубит вайна, ему харашо вайна. «Маладец, Аракел, ваюй, харашо ваюй, турки резить надо» — гаварит, а сам шашлык, похохбили, плов кушает. Харашо ему вайна, — повторяет он и снова причмокивает: — Це!

— А с чего это, милые, война завелась? — спрашивает санитар со страшными бровями. — До сих пор в окончательное понятие не возьму. Сказывали, будто сербиян австрияка забижать стал, а царь наш заступаться пошел, за сербиян чтоб постоять.

— За сербиян постоять... — перебивает Ельцов сурово. — Эх ты, голова! Да что же, по-твоему, сербиянскому-то мужичку или рабочему лучше, что над ним хозяйствовать будет сербиянский помещик, а не австриятский? Ему от всякого клопа избавляться надо, хочь то свой клоп, хочь чужой. Вот в чем дело. Эх, ты.

— Вот то-то, война сурьезное дело, — весело говорит Савельев. — Слышь, Лыськов, это тебе повезло, что не сурьезно по руке попало.

Он опять смеется. Гармонист собирает тесно в складки гармонику и тоже прислушивается.

— Осточертило, як болячка, — хмуро вставляет вновь Михайлюк. — Хай бы оно сгнило с их присягой. Це драка не за нашу хату.

Шорник отвечает:

— Не сурьезно, это верно. Кому, значит, как повезет. Вот и вы, ваше благородие, задешево отделались.

Он поднимает голову, изо рта у него висит конец дратвы.

— Здорово вы нас, ваше благородие, напужали, — продолжает он. — Искали мы вас долго, думали, что беда.

— Не согласен я, как Михайлюк говорит, — решительно произносит косоплечий санитар. — Ежели присягу не сполнять, так какой порядок будет? Этак придет к тебе в деревню голяк беспорточный и хозяйство твое заберет, ежели ни присяги, ни закона не соблюдать. У него ни кошки, ни хаты, а у меня три лошади да корова. Ежели без присяги и без закона, кто ж мене защищать будет? Тут не только турка, а свой за загривок возьмет.

Голос Михина вскипает возле лошадей.

— Н-но, «Чорт»! — кричит он. — Чорт бы тебя драл!

Густое, свирепое, могучее, торжествующее рыкание жеребца звучит как фанфара. «Чорт» сорвался с привязи и возится в табуне.

— Эй, ребята! — кричит заведующий хозяйством. — Где вы, черти? Разберите лошадей!

— И то сказать, — продолжает говорить мне Лыськов. — Места темные, азиатские, глухота. Тут несчастие в момент приключиться может. С кручи сорваться, аль человек не

добрый. Тоже случай, ваше благородие, подсобил вам.

Речь идет о моей охоте, когда я отбился от Михина и, заблудившись, плутал всю ночь. Утром до меня долетели выстрелы, раздавшиеся с сигнальной расстановкой и принадлежавшие людям из госпиталя, поднятого на ноги вернувшимся Михиным. Подсобил случай, или не подсобил, а конфуз для первого опыта получился немалый.

Визг и гам лошадей тем временем становятся невыносимыми, дикими. Михин выходит из себя.

— Эй! — зовет он яростно. — С ума вы там сошли, что ли? Лошади перекалечатся! Куда вы, дьяволы, подевались?

— Ребята, — говорю я, — пойдите-ка а то и в самом деле кони побьются.

Они все поднимаются, даже гармонист. Остаются только двое: я и шорник. Мы снова возвращаемся к саракамышскому делу.

Лошади стихают. Вскоре появляются наши собеседники, и тут вдруг видно, что у Савельева покрасневшее и обескураженное лицо.

— Крут на руку, — жалуется он обиженно и моргает своими веселыми, теперь недоумевающими глазами. — И с чего это у него, как говорится, зашло?

Взбешенный ожиданием, Михин отпустил ему пощечину, когда он первый, на своих длинных ногах, подскакивал к телегам.

Аракел сердито говорит:

— Це, це, каждая барин плоха, никаму хароший нэту. Одна от лубов бьет, другая от жэрэбэц бьет. Толко одна салдат тэрпэть надо. Зачем так? А салдат самый главный есть.

— Ничего, — тяжело усмехается Ельцов. — Эта наука на своей шкуре очень полезная.

Когда я иду вдоль обоза, Михин еще стоит возле своего коня, притянутого арканом к подводе, храпящего и приседающего мощным, как будто раздвоенным крупом.

Уже темно, сквозисто-синие сумерки стали фиолетовыми, и густыми мохнатыми чудовищами заползают под телеги, между ящиками, во все дыры горами набросанного имущества.

У заведующего хозяйством белеет разорванный ворот рубахи.

— Ах, чорт, — устало дыша, говорит он, глядя свирепо на влажного и лоснящегося «Чорта». — Застрелить тебя надо. Не конь — зверь. Ишь, чего вытворяет.

И в голосе его прорываются тайная нежность и любование.

14

ГЛАВА С КОНЦОВКОЙ ПО ЭКОНОМПОЛИТИКЕ

Мы следим за ходом войны, как если бы сидели на наблюдательной вышке. Количество выбрасываемого к нам порченного человеческого материала отражает то усиление боевых действий, то ослабление; атаки докатываются до нас. Правда, эти волны доходят с некоторым запозданием, но все же они достаточны, чтобы по ним заключить о перипетиях фронта.

Сыпняк никого уже не волнует.

Командный состав наш не щадит крезолана, тщательно каждый вечер производит ревизию белья и платья, изо всех сил чистится. Тем не менее мы чувствуем себя под обстрелом. Половина фельдшерского состава уже выбыла, часть умерла. Даже Ельцов, этот крепыш, находится в тифозном отделении, с жестокой температурой в 41°, вызванной не только болезнью, но и звериной крепостью организма. Толстые губы его высохли и почернели. Впрыскиванием камфары поддерживается сердце этого бычачьего тела. Две трети санитаров успели обновиться. Смертность же среди больных и раненых потрясающая. И это понятно: у нас ведь нет ни сносного питания, ни достаточного запаса медикаментов.

Кладбище за недалеким холмом растет. Оно почти лишено крестов, так как с досками приходится все туже. На месте погребения вырастают небольшие общие могилы. Савельев плетет иногда из кустарникового хвороста подобие крестов и втыкает их в особенно крупные насыпи.

— Христианской душе будет подсобней, — говорит он. — А бог и так определит, кому куда. Ему благолепия, как говорится, и не надобно. Он простак.

И санитар смеется.

Смерть вошла прочно в обиход госпиталя и уже является неотъемлемой, ничем не выделяемой подробностью нашей жизни. Все остальное тоже совершается в своем обычном порядке, время заполняется событиями, мелкими и крупными, и одни тянут за собой воспоминания, отражая то, что прошло, другие мелькают и исчезают, чтобы потом, как зерно, дать всходы.

Феюла, дочь Рахмаллы, почти выздоровела. Глаза девочки сияют теплым блеском; она уже не рвется из рук, когда я выворачиваю ее веко.

За Феюлой потянулись и другие. Теперь приходят и взрослые женщины. Почти у всех у них неладно с глазами; у многих трахома, кожные страдания, среди которых преобладает экзема. Они оттягивают край желто-синей или черной ткани, закрывающей лицо, и показывают только уголок щеки или уха, или подбородка.

Это двадцати-тридцатилетние но уже увядающие женщины, пугливые, робкие.

Очень красивы только дети, вернее, то, что мы называем детьми, девочки до тринадцати-четырнадцати лет. Они еще болтливы и задорны. Хотя их лица тоже уже завешаны, но иногда можно поймать насмешливую улыбку и лукавый взгляд из-под складки чадры. В сущности, жизнь их длится только до брака. Замужество, всегда очень раннее, обрекает их на рабство, на тяжелый, покорный, изнурительный труд восточной женщины при бездельнике-муже.

Сегодня прием происходит за большой палаткой.

Михин с разлохмаченной головою приближается ко мне.

— Нету желатины, Лев Семенович, — разводит он сожалеюще руками. — С удовольствием бы отпустил, да вся вышла.

Желатину мы подмешиваем в супы для дизентериков, за отсутствием слизистых отваров. Я понимаю, что для Михина желатина только повод, чтобы потолкаться около меня.

— Вот пошлем на днях в Эрзерум человека, тогда сделаем запас побогаче.

Он говорит, а сам смотрит на тоненькую Гаюнэ, у которой возле левого виска мокнет экзематозное гнездо и которая сейчас оттягивает узкими пальцами, с насурмленными ногтями, покрывало. Теперь видно почти все ее лицо. От ресниц, опущенных и трепещущих, ложится стрельчатая тень на смуглые щеки. Четырнадцатилетняя Гаюнэ не простая курдинка; она дочь князька.

Взгляд Михина становится свинцовым и тупым. Его ноздри расширяются. Отец Гаюнэ, высокий, крепкий, чернобровый человек, молча и внушительно стоит рядом со мной.

— Хорошо, — говорю я Михину, снимая осторожно пинцетом корки. — Хорошо, как-нибудь обойдемся.

Он топчется возле нас еще немного, потом уходит, медленно ворочая ногами в своих чудовищных, несуразных сапогах. Его шаг тяжел, ступни точно отдираются от земли; раза два он оборачивается.

— Пошта! — кричат где-то. — Пошта пришла!

Сейчас во всех уголках госпиталя начнется движение. Почта — это событие. День, когда она прибывает, — праздник. Мной тоже овладевает нетерпение. Смутное чувство ожидания, радости и грусти ворошит меня.

— Яхши, — говорю я молчаливому осанистому курду, в грязной, но пышной повязке на голове, и касаюсь мягко плеча девочки. — Чох яхши. Гаюнэ сыххакбе олавендыр. Гаюнэ будет здорова.

У входа к больным меня встречает новый фельдшер Сниткин акуратный плоский человек, похожий на ящерицу. У него бесцветные бачки; глаза полуоткрыты, — кажется, что он дремлет и не хочет поднять век.

Перед ханой чисто выметено и полито обильно крезолаином. Но за порогом сразу одурманивает тяжкий аромат стульчаков. Они стоят в узком темном коридорчике, под разбитым потолком.

— Кто здесь Воронкин? — спрашивает кто-то громко. — Воронкин есть?

— Чего выкликаешь? — отзывается кто-то. — Помер он.
— А Чудову не имеется? — осведомляется слабый голос. — Чудову с Вятской губернии?
— Нема, браток. Пишут, — бодро отвечает первый и снова кричит:
— Так Воронкина нету, значит! А Цевнев, такой есть?

Пол дизентерийной ханы накатан из глины, но его сейчас не видно под лежащими людьми. Мимо меня проскальзывает Василий, солдат из канцелярии, разносящий почту.

У больных — землистые лица, и на них тинистая влажность пота. Дизентерия высасывает силы и кладет на человека печать угасания задолго до конца.

Я наклоняюсь над солдатом невероятной худобы; черты его заострены, серая пелена надвинулась на зрачки. Он дышит с промежутками. Кисть его холодная, клейкая.
— Надо бы, ваше благородие, убрать малость, — срывающимся голосом говорит его сосед; голос доносится из-под козырька шапки, насунутой до кончика носа. — Лежать нету силы, загаженный он весь.

Действительно, от больного сильно разит. Я указываю Сниткину:
— Надо чаще убирать.

Фельдшер копается в листках и отвечает прилизанным голосом:
— Слушаю, господин доктор.

Санитаров мало, так как пополнения нехватает, переодеть больного не во что, сам он не может подняться, из него льет беспрестанно, и как мой приказ, так и ответ фельдшера носят, собственно, только формальный характер.

Изможденный, с ввалившимися щеками, скелет шевелит бумажкой. В запавших щеках его осела, как болотный туман, тоска.

Совсем недавно эти зеленовато-серые зрачки Федора Полуянова искрились, и губы расплывались в мягкую, широкую улыбку. Рука у него все еще перевязана. Он успел уже болеть сыпняком, и теперь его доканчивает дизентерия. Дыхание еле тлеет в этом теле, недавно еще крепком, ладно скроенном.

— Ваше благородие, — говорит он сухим, сипящим голосом. — Вот вам пишут, ваше благородие.

Вялая кожа стягивается в морщины вокруг ввалившегося рта. Это подобие виноватой улыбки обнажает сизые десны с бурой пленкой у вылезших из лунок зубов, кажущихся непомерно большими.

Свет бесстрастного дня льется на корявые буквы, деревенские, раздерганные, неровно разбегающиеся по бумаге.

Ваша милость Высокоблагородия?

Не гневитися, на Насъ темныхъ что осмеливаемся Прозьбу выяснить вамъ Нашу. Ктому еще съ покорностью и премного благодарностью за сына нашего единоутробного Федора, что описалъ намъ съ превеликой любовью За ваше всяческое угождение, черезъ которое только и уцелелъ после великих Боевъ. Съ поклоном до сырой земли молимся За ваше здоровье чего отъ господа Бога на веки Вечные Вамъ Желаемъ съ вашими дорогими родителями Истинного благословения. А Прозьба Наша, какъ мы не видамши сына Федора отпустить его, въ домъ и семейство насколько можете и къ родителямъ Его и жене Пелагее и дочери малой Фенюшке, что ждутъ не дождутся своего кормильца поглядеть на Его. Какъ взятый на военную службу съ пятнадцатого Году не имелъ онъ счастья на побывке побывать и очень скучное и обидное Наше положение передъ хрестьянами, которые сподобились сынов Своих прижать къ материнской груди. Ваша милость Высокоблагородия? взойдите к сожалению Прозьбы отпустить сына, старики уже никудышные клонются ноги не ходютъ, хозяйство совсемъ въ разоръ пришло, коня продали, не на што глядеть, пущай подсобитъ малость тогда согласны мы съ превеликой радостью опять въ Бой сына благословить.

с почтением Федоровы Маланья и Василий.

Полуянов человек конченный, это так же ясно, как ясна свинцовая овальная тень, расползающаяся под его веками. Можно обещать ему все, что угодно, без боязни обмануть.

— Я напишу им, — говорю я, — что ты поедешь домой самое меньше на два месяца.

Я отворачиваюсь, чтобы не видеть жалкой гримасы радости, с усилием пробивающейся на его обглоданном лице. Глубокая острая жалость проникает в меня, жалость не к этому полутрупу, а к тем миллионам безвестных Маланий и Васильев, которые из далеких сел и деревень через тысячи верст ловят напряженно малейший отзвук дорогих для них судеб.

Я продолжаю двигаться между людьми набросанными на полу, как поленья.

Письмо владеет мной. Вся эта серая, как земля, шеренга оживает. К ней протягивается необозримое число рук с мольбой и ожиданием, отцы, матери, жены, дети предстают передо мной.

Обед проходит под тем же тягостным настроением. «У Маланьи и Василия единственная в мире надежда на меня, а я даже не знал, что у Полуянова есть Маланья и Василий» — думаю я.

Меня посещают неотвязные мысли: не сделал ли я ошибки в лечении, может быть поздно произведено было вливание физиологического раствора. Как знает, один лишний осмотр, — и все было бы для него иначе. Мне начинает казаться, что я больше не смогу выписать ни одного лекарства при этой ответственности, возложенной на меня ходом событий. «Что за дурацкая чувствительность, — ругаю я сам себя. — Ведь это же война. Солдат умирает, семья его разоряется, и никому до этого дела нет. Закон войны — и все. Просто и ясно».

Чтобы освободиться от этих размышлений, я собираюсь после обеда на короткую, до работы, прогулку. Она однако прерывается в самом начале нежданной встречей.

На шоссе показывается всадник. Он сидит, согнувшись в седле странной формы, похожем на скамеечку, опрокинутую вверх ножками. Коня ведет на поводу женщина; морда этого россинанта, облезлого, с болтающимися ушами, достает почти до земли. Пыль обсыпала людей и животное. Бородатый верховой, его лимонно-желтая кожа, печальные и выпуклые глаза мне кажутся знакомыми.

Въехав в селение, группа останавливается. Женщина помогает мужчине слезть.

Седок обращается ко мне слабым голосом. Я узнаю теперь жителя из Паджикьяна, человека на тахте, покрытой палассами, в комнате, разгороженной ковром. У него тот же измученный, больной вид. Женщина не молода, она одна из старух, которые возились у ямы и пекли леваш. Мне остается только позвать переводчика.

Денщик Измаил приходит и начинает свою роль толмача. Армянин несколько оживляется, желтизна щек перебивается краской.

Лошадь, поводя ребрами, с шумом выпускает из ноздрей воздух, и пыль взлетает из-под ее опущенной морды.

— Главный блародие хочит видеть, — объявляет наконец Измаил. — Дэла имэит, очин сурьезный дэла.

Мы все направляемся к нашему дому. Измаил кратко посвящает меня в ход событий, заставивших притащиться к нам этого человека. Несколько жителей Паджикьяна отобрали силой у него и еще кой у кого запасы муки, сыра, соли. Теперь он прибыл с жалобой на земляков и просит дать ему солдат, чтобы восстановить свои права.

— А при чем здесь мы? — удивляюсь я.

— Це, — отвечает Измаил. — Он гаварит, наш салдат виноватый есть. Солдат наш прихадил и портил дэревна. — «Зачэм нэма кущать? — гаварил солдат. — Аднаму нычэго, другому — многа. Нада дэлить. Зачэм одна галадаить, другая кушаить?» — Луды слушал и забирал и дэлил, мука дэлил, тэлонка дэлил, всэм давал. Он главный благородия жаловатца будыт, просит многа салдат давать, атнымать будыт.

Я начинаю догадываться, что все натворил, очевидно, Аракел. Раза два или три он путешествовал в Паджикьян с собранными при моем содействии остатками нашей кухни; через меня же ему предоставлял Милевский свою кобылку, а Мухин — на полдня отпуска. Затем эти поездки прекратились. Он объяснил мне как-то, что надобность в помощи миновала, так как продовольственный вопрос в селении более или менее урегулировался.

Когда приходит вызванный главный врач, человек из

Паджикьяна прикладывает руку к груди и, болезненно морщась, низко кланяется. Измаил передает Василию Степановичу с причмокиванием и сдержанным драматизмом эту историю. Женщина безучастно слушает, бородатый человек переводит взгляд то на денщика, то на нашего старика, ничего вначале не понимающего.

— Скажи ему, — говорит, наконец, главный врач переводчику, — что я ничего не могу сделать. Это, конечно, безобразие, но у нас нет ни права, ни возможности заниматься восстановлением порядка.

Мы постепенно расходимся. Мужчина, женщина и лошадь с свешивающейся к пыли мордой остаются одни.

Василий Степанович посылает за Михиным и отдает распоряжение, чтобы впредь никого из команды не отпускали в окружающие селения.

Я возвращаюсь к больным. День продолжается, похожий на прочие дни.

Долгое, и черное, как омут, впечатление сохраняется от него.

Это, однако, не мешает мне вечером, при встрече с Аракелом, заинтересоваться одним обстоятельством.

— Ведь у твоего паджакьянского хозяина хлеба было «мала-мала», ты сам это сказал. Как же у него забрали и поделили муку? — спрашиваю я. — Откуда появилась она у него?

Он смущен и вначале теряется при моей осведомленности в этом деле, затем, оправившись, говорит с лукавой и немного злорадной усмешкой:

— Ему жалка была. Другая умирал, а ему пратал, всем абманывал, што нычэго нэма. Моя тогда вэрил ему. Багатый луды — плахой луды.

«В этой несчастной деревне тоже война, — думаю я. — Но, кажется, это единственная война, которая не лишена логики. Существуют, очевидно, условия, при которых эта логика нищеты должна рождаться. Если у Маланьи и Василия разваливается хозяйство и им нечего есть, то не смогут ли и они добраться до подобного разрешения вопроса?»

Уже ночью меня вызывает фельдшер. Три солдата плохи. Полуянов агонизирует.

СОВЕСТЬ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Доктор Милевский, налегая грудью на стол, пишет письмо своим в Кишинев. Чахоточный огонь одиннадцатилинейной лампы чертит за его спиной на стене уродливый черный силуэт, перегибающийся на потолок.

Наконец старший ординатор ставит точку и вздыхает. Астматические обертоны, как умирающие духи, поют в этом вздохе.

Перо размазывая след, скатывается к краю стола. Плотная фигура человека откидывается на табурете, силуэт на стене прыгает и делается безголовым.

— А уже холодновато становится вечерами, — говорит Милевский, потирая зябко руки. — Можно себе представить, что за прелесть здесь будет глубокой осенью. К счастью есть Михин. Раз есть Михин, значит, есть печь. Он обещал сегодня-завтра устроить ее нам. А вы чего такой мрачный? Завидуете моей переписке с Кишиневом?

В Кишиневе у него семья из шести человек, и письма оттуда полны жалоб и горестной лирики. Его попытка шутить не достигает однако цели.

— Наум Абрамович, в моем отделении за август прошло триста шестьдесят человек, из них сто девятнадцать умерло. Что это такое?

Голос у меня сухой, не громкий и странный, точно мне не принадлежащий. Он проникает в мои собственные уши скрежетом.

Комки одутловатой кожи, висящие под глазами Милевского и растянутые тенями, его сочные вывороченные губы и желтоватые щеки приходят в движение.

— Что это такое? — переспрашивает он и чуть-чуть кашляет: «кхе-кхе». Подбородок его трясется, на шее выпирает складка, и тон звучит серьезно. — Это война, дорогой мой. Но какая война? Дурацкая, самая бездарная. Что я здесь делаю, например? Лечу? Нет, я добиваю здесь свое склеротическое сердце без пользы для кого-либо. Что здесь делают солдаты? Воюют? Ничего подобного. Они заражают

друг друга и гибнут. Сражаются ну тысячи, а десятки тысяч ложатся в гроб от голода и болезней. И это, вы думаете, вообще от нашей бедности? Нет, это от нашей тупости, эгоистичности, — от того, что солдат для нашего высокого начальства не человек. Сколько уж месяцев как мы пришли сюда? Май, июнь, июль, август, сентябрь — пять месяцев. А что такое пять месяцев? Это — хорошая дорога для автомобилей от позиций до самого Эрзерума. Это — хорошее снабжение и питание. Это — хорошая эвакуация. Есть это у нас? У нас есть дорога кладбищ. А когда придет зима и перевалы засыплет снегом, что тогда будет? Эта война — самая идиотская война, какую я могу себе представить.

Я перестаю ходить и останавливаюсь у стола.

— Но ведь мы посылаем отчеты, их читают, их видят. Наш лазарет не единственный, у других то же самое, если не хуже. Неужели эта статистика никого не смущает?

Старший ординатор смотрит на меня как на чудака.

— Что такое наши отчеты? — говорит он наконец с извиняющей меня снисходительностью. — Это только бумаги. А кто их читает? Я, вы, солдаты? Нет, мой дорогой. Их читают чиновники и генералы. Как вы думаете, очень они им интересны, эти смерти и эти наши донесения?

Мне становится холодно, точно кругом темное, сырое пространство.

— Ну, допустим, вы правы, это тупая бездарная военщина. Но ведь есть еще общественные деятели, — говорю я. — Есть совесть и ум русской интеллигенции, Милюковы, Шингаревы, Львовы, Набоковы. Неужели никто им не сообщает, что проделывается с солдатом, на самом деле превращенным в серую издыхающую скотину?

— Послушайте, — отвечает Милевский, — вы юморист чистейшей воды. Вы можете рассмешить мертвого. Общественные деятели! Милюков, Львов! Разве вы не читаете их речи? Они сами хотят этой проклятой войны, войны, во что бы то ни стало. Разве не им снится Константинополь и крест на святой Софии? Эх, вы!

С улицы долетает голос Михина. Он кого-то разносит:

— Нечего «так точно». Я приказал еще вчера, стерва,

а где работа? Завтра к обеду чтоб было готово, а то я ноги тебе повыдергаю.

Слышно бормотание, затем все сразу стихает, точно на звуки навалилась груда ваты.

Взгляд Милевского вдруг делается испуганным. Он встает и вплотную приближается ко мне маленькими шагами.

Сукно его френча шершаво и жестко.

— Ну, бросьте, успокойтесь, — говорит он, усаживая меня на табурет. — Конечно это им даром не пройдет! О, нет! — он освобождает одну руку и грозит куда-то кулаком. — Но пока что я или вы можем сделать? Не стоит себе портить кровь, дорогой мой. Ведь чтобы призвать их к ответу, надо объявить войну им, их силе, их богатству, их аппетитам. А для этого я и вы еще слабы, — с пробивающейся сквозь заботливость шутливостью добавляет он.

— Тогда к черту, — говорю я. — Тогда надо итти к Ельцову и Аракелу и с ними вместе ломать всю эту лавочку. Значит, прокламации правы.

На лице старшего ординатора появляется снова выражение тревоги и растерянности.

— Да замолчите! Какие прокламации? О каких проклама-циях вы . . .

Милевский не успевает кончить; входит Михин. Он потирает свои огромные ладони.

— Завтра печь наладим, — громко сообщает он. Затем широкий зевок отбрасывает кверху его голову, великолепные зубы блестят в мигающем от его шагов свете лампы. — Ну и народ, ничего делать не хочет. За загривок тащить надо. Главного не видели?

Старший ординатор качает головой.

— Печь? — говорит он. — Это хорошо. А топливо? Через две-три недели уже топить надо будет.

— Раздобудем.

Михин зевает еще раз и сонно добавляет:

— Чорт знает что, мне еще возиться сегодня с отчетностью всю ночь, а главный задерживает. Не поймаешь его, да и только.

Заведующий хозяйством садится рядом и хлопает по моему колену. Его глаза загораются.

— Опасная девочка эта, — произносит он воодушевленно.— Огонь, должно быть, девочка. У нее, говорят, уже жених есть. Разве эти азиаты понимают такую прелесть? Чем больна она? — спрашивает он. — Что-нибудь серьезное?

В его зрачках дрожат искорки.

— У нее экзема, — отвечаю я, уже совсем овладев собой. — А вы, собственно, почему так интересуетесь?

Он вытягивает шею и прислушивается.

— Пришлите мне Михина, — говорит за стеной кому-то глухой тенорок главного врача.—Куда это он запропастился? Мы так никогда и не кончим с отчетностью.

Заведующего хозяйством точно сдувает с табурета.

— Как это называется?— спрашивает Милевский и отвечает самому себе: — Это называется — короткая память. Он забыл уже историю с нашим комендантом. У того был Егоров, а у Михина окажется какой-нибудь Абдурахан. Ну, теперь давайте сыграем увертюру к «Спящей Красавице».

Так у него называется прогулка перед сном.

Мы медленно шагаем за селением по дороге к реке и обратно.

У дома, при возвращении, мы натыкаемся на санитарную линейку, своим верхом белеющую в темноте. Лошади, впряженные в нее, храпят на нас.

Возле дышл разговаривают незнакомыми голосами два человека.

Из цейхгауза доносится шум.

Солдат с кипой одеял пробегает мимо. Меня и Милевского озаряет одна и та же мысль.

— Несомненно полковник, — высказываюсь я. — Ранен и без перелома. Иначе доставили бы вьюками.

— Нет, — возражает Милевский, — поднимайте выше. Знаете, что это? Это для вас возня на всю ночь. Пахнет генералом.

Он указывает на яркий свет, бьющий из оконных щелей общежития.

Наше помещение иллюминовано, лампы, притащенные из канцелярии, делают его праздничным.

Мы неуверенно, как бродяги в салон, вступаем в комнату.

Главный врач и еще какой-то старичок, ушедший почти до пояса в фетровые теплые сапоги, стоя разговаривают. Плечи незнакомого человека подняты ватной курткой, он довольно вертляв и чувствует себя, очевидно, совершенно непринужденно. На гладком серебре погон у гостя ни одной звездочки.

— Это, ваше высокопревосходительство, ординаторы, — представляет нас главный врач, называя фамилии. — Господа, — обращается он к нам, — его высокопревосходительство, господин корпусный врач.

Отзвук его слов угасает в тишине.

Я и Милевский, остолбенелые, машинально выпрямляемся.

В этот момент отец Цинцадзе возглашает:

— Благословен бог, дарующий путнику...

«Наконец-то!» — проносится в моей голове.

16

НАЧАЛЬСТВО ЗАБОТИТСЯ

В стороне сидит военный чиновник, слабогрудый, молодой и бледный человек, с длинными выкатывающимися зубами. Его вскоре отправляют к делопроизводителю. Это новый помощник Михина, присланный вместо Егорова.

Главный врач смотрит в рот жующему старичку и рассказывает ему о случае с прежним помощником заведующего хозяйством. Мы сидим тут же и слушаем знакомую историю. Егоров давно отослан под конвоем в Эрзерум. Корпусный врач интересуется деталями: красива ли была героиня, где встречались любовники, не раскаивался ли муж, потеряв молодую жену.

— Хе-хе, — смеется он, — значит, вы все думали, что комендант бил кошек, а он, оказывается, кошечку...

У старичка склонность к каламбурам.

— Да, — говорит главный врач, — штабс-капитан поступал по способу Марка Волохова: выстрелами звал в обрыв. Мы и не подозревали.

— Это какой же Волохов?— живо спрашивает корпусный.— Не из третьего ли перевязочного отряда?

— Нет, ваше высокопревосходительство, это Волохов из «Обрыва» Гончарова, — почтительно объясняет Василий Степанович.

Старичок не может успокоиться.

— Значит, на самом интересном месте . . . Ай-яй-яй, бедный муж, — щурит он глаза так, что остаются две узкие линии. — Но как же они попались? Кто-нибудь донес мужу?

— Ваше высокопрэвосходительство, — с достоинством вмешивается батюшка, — сотворящих прэлюбодэяние карает рука провидэния. Муж по случаю командировки имэл надобность к камэнданту. Камэнданта он в канцелярии не застал и пашел искать в нэдра селэния, затэм что камэндант одержим жаром охоты на кашачью пароду. Остальное никому нэ вэдомо. Истинно, пэреступивших заповэд нэ минуэт воздаяние.

Под конец гость просит показать ему хану, место событий.

— Завтра, завтра, — тотчас предупреждает он, затем машет рукой и кричит: — Когтев, термос!

Плечистый, грудастый солдат, стоящий у двери с видом дворецкого, появляется с снарядообразной бутылкой. Старичек пьет молоко. Взгляд Милевского сочится томностью.

Молока, чорт возьми, давно не нюхал никто из нас!

Главный врач пытается говорить о лазарете, о медикаментах, о белье, о снабжении, о больных, о питании; я тоже пробую вставлять реплики. Милевский от времени до времени присоединяется к нам. Мне кажется, что старичок должен поразиться, ахнуть, вскочить, сейчас же побежать, чтобы увидеть все это собственными глазами и не успокоиться до тех пор, пока хоть самое страшное не будет устранено.

— Да, да, — машет головой корпусный. — Скажите, какое безобразие! Завтра доктор Лендовский,— продолжает он,— познакомит вас с новой формой сведений. Кстати, господа, когда вы встаете? Ну, а я уж понежусь. Дорога до вас от Башкея очень капризна. Измучились мы с ней. Когтев, ты не забудь под ноги.

Когтев приносит коврик и устилает им пол у походной кровати, укрытой толстым одеялом и расставленной на месте, которое занимал я. Моя койка оттянута в угол.

Мы собираемся спать. Доктор Ландовский, правитель канцелярии корпусного врача, замечательно молчалив; его совсем не слышно. У него белое, обтянутое, как будто выглаженное, лицо с голубыми водянистыми глазами и сжатым тонким ртом. Старичок надевает через шею плоскую, как замок, коробку на шнуре; в центре ее выпукло блестит стекло. Вооруженный этим солидным электрическим фонариком, он шествует к выходу. Его сопровождает дворецкий. Возвратившись, его высокопревосходительство поеживается и трет свои ладони.

— Холодновато, — говорит он, присаживаясь на кровать. — На перевале я уже видел снежок. Господа, где ваша печь? — изумляется он. — Вы удивительно беспечны, — каламбурит он и заливается квакающим смехом.

Ему вторит главный врач.

Милевский скромно улыбается.

Теперь горит одна лампочка; ее притушенное пламя колеблет и смешивает тени на стене.

— Неужели здесь зимовать будем? — отрывисто спрашивает Тиченко. Он уже лег, некрасивый, болезненный и мрачный. Одинокие пятна румянца окрашивают его скулы.

— Надо полагать, надо полагать, — скороговоркой отзывается старичок. — Операция развертывается медленно, хотя войска, господа, неудержимо рвутся на врага. Планы командования...

Он умолкает, как будто желая показать, что дальше следует военная тайна. Однако, словоохотливость разбирает его, но говорит он уже о другом.

— В Холтаке мне показали часовню армян-христиан. Она из грубого камня, но какой красоты, господа. Религиозное чувство подсказало строителям совершенную форму для выражения верующими своего молитвенного настроения.

Лицо главного врача обнаруживает чрезвычайную заинтересованность.

— Отрадно, — произносит он, затем делает паузу и гово-

рит: — Ваше высокопревосходительство, лазарет к зимнему положению не подготовлен. Мы весьма нуждаемся в самом необходимом инвентаре. Извольте завтра сами увидеть. Я уже обращался за досками и печами и за теплым оборудованием в корпусное интендантство. Кроме того вопрос с аптекой стоит остро. Состояние больных отягощается...

Старичок морщится, точно его что-то кусает.

— Вы это... э... подробно изложите... отношением.

Отец Цинцадзе разглаживает свою бороду поверх одеяла.

— У нас, ваше высокопревосходительство, тоже имеется древний храм, — откашлявшись, словно на амвоне, произносит батюшка. — Ему не менше пятьсот лет.

— Древний храм, — говорит корпусный, и голос его почему-то несколько разочарован. — Гм... тм... это очень интересно. Однако, их здесь довольно много... Завтра обязательно покажите мне.

Он говорит и в то же время раздевается с помощью своего вестового.

Чудовищные груши бандажа присосались к обоим его пахам.

— Простите, ваше высокопревосходительство, — замечает деликатно главный врач. — Не грыжа ли у вас?

— О, да, да, это старый спутник мой, — довольным тоном сообщает старичок. — Вы знаете, меня давно все уговаривают оперироваться, но...

Он хитро качает перед носом указательным пальцем и даже, кажется, подмигивает Василию Степановичу.

— Почему же, ваше высокопревосходительство, не избавиться в самом деле от этого недуга? — спрашивает главный врач. — Операция ведь несложная.

Освобожденный от ватных брюк и френча, корпусный превращается в щуплую, немощную старческую фигурку. Ноги его в толстых чулках отрываются от коврика. Он крякхтит, как в бане, и прячется под одеяло. Взгляд его лукаво обегает всех. Он говорит:

— Да, несложная, но перехватят семенной канатик, — и мужчина уже никуда не годится. Вот то-то, — торжествующе добавляет он и внезапно кричит: — Когтев, а посудину?

Солдат опять скрывается и вносит затем, прижав к выпуклой груди, как ребенка, нечто круглое, обернутое газетой. Горшок задымается под ножной конец кровати.

— Иди спать, — отпускает наконец старичок вестового.

Главный врач оправляется от изумления.

— Хороший хирург, ваше высокопревосходительство, — говорит он, — никогда не сделает ошибки. Это ведь азбука оперативной техники. И кроме того, насколько мне известно...

— Нет, что вы, — перебивает его гость, и кустарник бороды упрямо шуршит по подушке. — Уж они обязательно напутают. Вот изволите видеть, господа, когда я был еще студентом последнего курса Военно-медицинской академии...

Утром, когда мы встаем, корпусный к нашему удивлению уже не спит. Теперь я могу разглядеть его. У него красноватые глаза, множество морщин перепутаны на маленьких щеках. Голые, обсосанные височки почти прозрачны, и в стороны торчат большие угрюмые уши. Он сердито кашляет.

— Плохо у вас, господа, — ворчит он. — Блохи, спать невозможно. Я весь разбит. Коттев, одеваться. Да чего ты мне тычешь рубашку, болван! Сапоги давай.

Через час, когда я возвращаюсь к чаю, походная койка его высокопревосходительства уложена. Крепкая рессорная санитарная линейка ждет у двери. Старичок кончает завтрак. Он злым взглядом следит, как выносят багаж.

Мы все провожаем начальство. Главный врач что-то говорит ему.

— Докладной запиской донесите, — отвечает он досадливо, прыгая в руках Коттева, подсаживающего его. — Я рассмотрю.

Шевелюра Михина прикрыта на этот раз фуражкой, а воротник застегнут. Он держит расчерченные листы новых форм отчетности. Молчаливый доктор Ландовский влезает вслед за старичком в линейку. Солнце уже высоко в небе. Серебряный крест сверкает на груди отца Цинцадзе.

— Да будет путь благостен... — бормочет священник, пожимая с поклоном руку старика.

Копыта лошадей взбалтывают пыль.

— Не понимаю, — поднимает растерянно плечи главный врач вслед катящемуся по дороге облачку. Он расстроен, и лоб у него влажный. — Даже не заглянул в палаты.

Мы разбредаемся с чувством недоумения и обиды.

Батюшка сучит пальцами бороду.

— Такой дрэвний храм нэ пасматрэл. Зачем гаварил — пакажи? Нэ харашо.

САХАР ЛЕЙТЕНАНТА

— Говорят же вам — нельзя! Куда расходитесь? Не полагается!

Перед комендантской ханой выстроена переминающаяся с ноги на ногу шеренга людей в голубовато-стальных костюмах и бескозырьковых, пирожками, шапках. На них покрикивает, довольно добродушно, солдат с двумя нашивками. Несколько человек конвоиров наводят порядок. Пленных — значительная группа, и все это офицеры.

Голубое небо безоблачно. Ленивым узором лепятся горы. Кара-Су стеклянно отсвечивает у облысевшего берега. Сегодня неожиданно расцветает летний нежный день, почти жаркий; только на заре иней обсыпал землю. Жизнь кажется необыкновенно прекрасной и нужной.

— Селям аллейкум, — говорю я, поднимая ладонь к фуражке.

Пленные отвечают вразброд. Я различаю отдельно каждое лицо, хотя в первый момент все они кажутся похожими один на другого. Вот немолодой турок с обвисшей нижней губой и нескладно расставленными ногами. Горбоносый сосед его надменно щурится. У него на кончике носа ложбинка, руки засунуты в карманы, переносье скошено глубокой бороздой.

— Ихний генерал, — объясняет мне фельдфебель. — Гордячий парень.

Мой взгляд наконец находит точку опоры на молодом

турке. По губам, мягко, но решительно изогнутым, блуждает застенчивое, печальное выражение. Чудесные бархатные глаза освещают еще несложившиеся черты.

— Вы мне нужны, — дружески улыбаясь, обращаюсь я к нему. — Вы меня понимаете?

Впервые за много дней у меня очень хорошее, беспричинно хорошее настроение; оно приходит, может быть, оттого, что солнце греет каким-то последним трогательным теплом. Мне хочется показать этому человеку, что война не разделяет нас и мы можем относиться друг к другу по-человечески, независимо от плена и свободы. В этом желании чувствуется сентиментальность, что-то незрелое, непригодное в суровых превратностях борьбы, и все-таки оно пробивается в улыбке, в словах, в движении руки.

Молодой офицер порывисто дергается и оглядывается, точно ища того, кому я говорю, потом плечи его поднимаются и опускаются. На загорелые щеки проступает румянец.

— Знаете ли вы французский язык? — медленно подбирая слова, спрашиваю я на плохом школьном диалекте.

Кивок головой и просиявшее лицо показывают, что на этот раз ошибки нет.

— Да, — певуче и легко отвечает он тотчас. — Я вас хорошо понимаю.

Дело в том, что его услуги нужны соплеменнику, находящемуся в лазарете на излечении; больной хочет послать письмо, и некому написать его. Объяснившись, мы быстро договариваемся. Начальник караула, фельдфебель, не возражает против короткой отлучки пленного под моим надзором и моей ответственностью.

Мой спутник с нескрываемым удовольствием месит дорожную пыль. Теперь видно, что он худ, у него нехватает нескольких зубов (не цынга ли?), синеватые веки выпуклых глаз просвечивают. Его зовут Шефкет-Шехти. Мы приходим к большой гессенской палатке.

Бородатый мулла лежит первым от входа. Именно он нужен нам. Его соседи турки сменились уже несколько раз; поправившиеся ушли в тыл, мертвые — на погост, а он, как

застрявший в русле обломок, остается на месте. С ним пришлось много возиться. Его рана не заживала; время от времени какой-нибудь осколок, выскакивавший с гноем, возбуждал надежды на поправку, но потом болезнь принимала прежнее течение. Наконец появился зловещий рисунок гангрены, и по коже растянулись красные тяжи. Три дня назад ему ампутировали, начисто отхватив, плечо.

После хлороформа он долго тряс очумело бородой. К вечеру над селением понесся вой. Муллу покинули восточный фатализм и покорность. На него кричали и больные и санитары. Потом ночью вопли стихли. Причитания еще сотрясали старика. Теперь можно было разобрать, кого он зовет: «эффенди — дохтар».

Я пришел в сопровождении Измаила. Мулла страшно косился на меня выкаченными белками и тряс грязной, в слюне, бородой. «Старик хочит сыну пасылать письмо. Он думаит — смерть. Сын адин есть» — перевел мне денщик. Я обещал мулле. Как писать, куда писать — неизвестно. А главное — писать было некому. Больные турки помочь не могли. Потом осенила мысль — обратиться за помощью к пленным, проходившим иногда через коменданта.

Скверным французским языком я представляю муллу младшему лейтенанту турецкой армии Шефкет-Шехти.

В палатке спущены вторые бобриковые сукна, и все-таки земляной пол зябко сквозь подошву щекочет ступни. От тусклых отсветов жестяного бака для кипяченой воды помещение кажется еще неуютней. Турок всего шесть человек. Они жмутся друг к другу, русские шинели — милость победителей — накрывают их, иначе этим людям, разутым и полураздетым, как их доставляли к нам, пришлось бы совсем туго.

Мулла ворочает глазами, ставшими при его отчаянной худобе огромными, и его бормотание, со вздохами и паузами, похоже на заклинание. Шефкет-Шехти, наклонившись, слушает, спрашивает, что-то говорит, качает головой. На клочке бумаги моим карандашом он что-то записывает; очевидно адрес и пожелания старика. Я отворачиваюсь, чтобы оставить их вдвоем, и затовариваю с ранеными. На

месте усатого Голобородова, жандармского унтер-офицера, давно умершего, лежит Гриценко, хохол с решительно сдвинутыми бровями и серьезным выражением тронутого оспой лица. Разбитая пулей голень его взята в гипс и самодельную шину.

— С первыми линейками поедете, Гриценко, — говорю я. — Должен притти большой транспорт. А там — Эрзерум и отпуск. Не соскучитесь ли по боевой жизни?

Не мигая, он смотрит на меня. Почти неуловимая гримаса усмешки оттягивает край его рта.

— Скучают по ней только генералы, ваше благородие, — твердо отвечает солдат. — А нам хоть бы войны не было.

Головы близлежащих поворачиваются к нам. На всех лицах осели, как сырая плесень, следы длительной неподвижности и плохой пищи, и сквозь эту печать лишений пробивается любопытство. Я хочу исправить неверный ход свой.

— А родина? Значит, так и отдать ее неприятелю?

Взгляд Гриценко становится неопределенным.

— Неприятелю? — переспрашивает он. — Та на кой ляд ему наша родина понадобилась? У него своих забот хватает.

Он вытаскивает из-под одеяла руку и протягивает ее по направлению к туркам.

— Ну, какой он мне неприятель, — насвешливо и горько говорит он. — Вместе мучаемся, вместе вшей кормим и издыхаем. Такой же голыш, как и я. А есть такие, которые на автомобилях скачут и коньяк лопают. Вот те, действительно... Ваше благородие, — его тон переходит в просительный, и фраза остается незаконченной, — меня, ваше благородие, можете и на осетинке отправлять, я вытерплю.

Этот человек мне понятен до последнего изгиба мыслей. За него говорят грязь, непричесанная, непромытая, лишения, годы разлуки с родными, окопы, тысячи верст исхоженных дорог, тоска, надсадная, беспощадная, двадцать раз риск жизнью, собачьи привалы, переломленная нога. Если даже допустить, что Австрия предъявила Сербии невыполнимый ультиматум, а Германия объявила бельгийскую не-

прикосновенность клочком бумаги, то, черт возьми, какое он, Гриценко, имеет отношение к этим попранным международным правам? Почему он должен убивать этого вот турка, который тоже ничего не знает о попранных международных правах? Милевский говорит — это самая идиотская война. Но разве она стала бы лучше и справедливее, если бы были шоссе и транспорт? Ведь основа-то ее останется: одни, объявившие войну, заставляют драться и умирать других, не желающих этой войны. Разве Гриценко этого не чувствует? Что тут можно возразить? Мне остается только протянуть ему руку для братского пожатия.

Однако моя рука продолжает висеть, словно отягощенная тысячепудовой гирей. Под взглядом десятков глаз, обведенных каймой страданий, я сейчас с особой остротой чувствую довлеющие надо мной, как проклятие, годами напластованные привычки, ощущения, мысли, целый мир, разделяющий нас.

Рокочущее грассирование возвращает меня к действительности.

— К вашим услугам, господин доктор, — сообщает лейтенант. — Все сделано.

Я тотчас пользуюсь этим вмешательством в мой разговор с солдатом и уже на ходу объясняю Гриценко, что осетинка повредит его срастающейся кости.

— Великое несчастье эта война, — говорит Шефкет-Шехти таким тоном, точно он виноват в ней и извиняется. — Я сам из Стамбула, у меня отец, мать, увижу ли я их когда-нибудь? Мне предстояло кончить лицей естественных наук, как вдруг все это рушилось. Ах, война, эта ужасная война. Как хорошо было бы, если бы ее не было.

— Вот в этом вся суть, — подхватываю я. — Вы и я, например, не хотим войны, а воюем. Не знаете ли вы, — полушутливо спрашиваю я, — как сделать, чтобы этого не было?

— О, господин доктор, — отвечает он в тон, — вы задаете мне очень трудный вопрос. Но хорошо. Я думаю, что война была бы невозможной лишь в том случае, если бы все правительства без исключения опирались на волю народа. Оттого, что этого нет, и возникает война... Господин док-

тор, — его голос меняется, — позвольте мне обратиться к вам с просьбой.

Просьба заключается в папиросе.

Этот смуглый человек, оторванный от дома, от родины, от своей науки, от любимого, очевидно, дела, становится мне близким. Мы оба брошены в эту свалку прямо со школьной скамьи. В его словах, в мягких гортанных перекатах чуть печального голоса слышатся нотки протеста. Конечно же, эта война ему также отвратительна и враждебна.

При виде коробки, предлагаемой мной, он краснеет и благодарит.

— Вы так же молоды, как и я, — говорю я дружелюбно. — Может быть, мы даже однолетки. Нам с вами надо было бы после здорового рабочего дня гулять по улицам европейского города и беседовать о литературных и научных делах. Пусть бы воевали те, у кого это профессия дедов и отцов, или те, кому это выгодно, не правда ли? Может быть вы голодны? — сразу перескакиваю я на щепетильную тему.

— О, нет, благодарю. Но если вы так добры...

Мгновенное усилие, похожее на стремление что-то сообразить, мелькает в его лице.

— Я был бы очень признателен за сахар, — продолжает он. — Эта потребность организма в сладком становится буквально деспотической. Мне так неловко обременять вас пустяками.

Он быстро оглядывается, точно желая убедиться, что никто не слышит его смешной просьбы.

Стоит позднее послеобеденное время, на дороге никого нет, повсюду тишина. Это час, когда команда спит с отяжелевшими желудками, или разбредается по разным закоулкам селения. Долина, вся в желтых пятнах надвигающейся осени, молчаливо покоится под запоздавшей теплотой октябрьского неба.

Мы заворачиваем к дому, и я ухожу внутрь его, приглашая своего спутника подождать у двери. В комнате звенит тоненький носовой свист: батюшка, прикрыв лицо платком, вытянулся на койке. Главный врач просматривает бумаги.

В чемодане отыскивается всего несколько кусков пиленого рафинада; этого слишком мало, мне хочется проявить щедрость.

В коридоре есть задняя небольшая дверца. Штукатурка заросла пылью и паутиной; о дверце забыли, никто ею не пользуется, потому что она слишком мала и проходить в нее нужно согнувшись. Стоит только проскользнуть в это отверстие, как попадаешь тотчас на бугристую площадку землянок команды позади дома. Отсюда несколько десятков шагов до цейхгауза.

Каптенармус выдает мне в счет будущего отпуска пятифунтовую порцию. Чтобы возвратиться тем же путем обратно, разделить добычу на две равные части, одну оставить в комнате, а другую ссыпать в пакет из газеты, требуется не более десяти минут.

Я выскакиваю на порог. Шоссе пустынно. Никого нет.

Что это может означать? С свертком в руках я обегаю здание, потом спешу к белой палатке, одной, другой, по пути зову: «Шефкет-Шехти! Шефкет-Шехти!» Опрашиваю встречных. Никто его не видел. Он провалился, ушел сквозь землю. Тогда меня осеняет мысль, что кто-нибудь забрал его и увел к коменданту. Я тотчас направляюсь туда. Фельдфебель, сидя на свалившихся камнях, в надвинутой к затылку фуражке, скучно чертит шашкой круги по пыли. Та же кучка военнопленных, окончательно потеряв строй, ждет продолжения своего путешествия.

Когда выясняется, что офицер исчез, поднимается тревога. Солдаты строго окружают турок. Высокий, бритый подпоручик грузин, новый комендант, пишет рапорт, снимает с меня показания, прикладывает к своей бумаге донесение караульного начальника. Спешно формируется отряд для погони. Как выясняется, — мне угрожает, если не будет обнаружено пособничества, пустяковое взыскание. В ответе, собственно, один командир конвоя, но тут, при всем моем глубочайшем сожалении и сознании вины, ничем поправить дела уже нельзя.

Лейтенант турецкой службы скрылся. Это так же очевидно, как очевиден тот сверток сахара, который до сих

пор еще в моей руке. Пленному стоит только добраться блатополучно до дыр и складок возвышенностей, с их глубокими пересечениями, и тогда он вне предела досягаемости.

Надо мной светлое небо, безоблачное, ясное. Мне хочется уловить на нем предвечерние тени и близость все укрывающей ночи.

Шефкет-Шехти, счастливого пути!

18

АТАКА

В госпитале, наряду с продовольственными лишениями, ощущается недостаток медикаментов; перевязочный материал мы экономим уже давно, но теперь уже израсходованы почти все отхаркивающие средства, из вяжущих остался в незначительном количестве только бисмут, опий на исходе. Касторка, особенно необходимая для эмульсий дизентерикам, становится дефицитной, а Васильева, помощника аптекаря, посланного в эрзерумскую полевую аптеку, все нет, как нет. Мы начинаем даже сокращать применение сердечных лекарств. По поручению главного врача я пробую связаться с башкейским лазаретом насчет временного позаимствования из него материалов.

Телефонисты устроились на другом конце селения возле этапного коменданта. После ужина я отправляюсь к ним.

Отягощенный сумерками туман сползает с гор, сквозь него тессенские палатки белеют, как далекие паруса. У большой комендантской ханы, кое-как восстановленной, стоит, склонившись и держась за косяк, высокая фигура. Несмотря на прохладу вечера, она одета только в гимнастерку. Блестят на плечах золотые полоски погон. Я подхожу ближе и узнаю коменданта; его худое грузинское лицо с удлиненным носом бледно, волосы слиплись на лбу, глаза мутны. Эта поза не оставляет сомнений; звук рвоты выходит из его горла. От блевотины, растекающейся у его ног, разит острокислым запахом алкоголя.

— А, доктор, — нетвердо говорит комендант. — Заходите.

— Я не к вам, господин комендант. Вы, кажется, плохо себя чувствуете? — замечаю я вежливо.

— Благородное слово офицера, — бормочет он. — Окажите честь... Тезо... мет... тезоименитство его в-величества... Прошу присоединиться.

Качнувшись, комендант делает шаг и хватается за мой рукав. Он крепко держит меня и с пьяным упрямством тянет за собой. Во избежание спора, я не сопротивляюсь.

Керосиновая лампа-молния освещает в табачном рыжем дыму компанию из нескольких военных, сидящих за простым деревянным столом, уставленным бутылками, тарелками, стаканами. Это все проезжие, задержавшиеся на ночлег. В углу, на лежанке, растянулся храпящий в неудобном сне человек в зеленом френче; одна нога его свисает. Наше появление вызывает шумные восклицания.

— Поручик, — кричит пучеглазый, необыкновенно красный, очень молодой офицер. — Куда вы ушли? Ваша талия чертовская. Еще три карты биты!

Они не только пьют и едят. Карты разбросаны по столу.

— Господа офицеры... — комендант икает, однако становится оживленнее. — Место доктору!

— Мы вас приветствуем, — развязно кричит мне тот же пучеглазый офицер. — Офицеры, победители турецкой сволочи, вам предлагают место!

Комендант подталкивает меня к столу.

Опустивший понуро голову военный с большой плешиной выпрямляется и тянется за бутылкой.

— Ура! — усталым хрипом отзывается он. — Ура! Водки ему! За венценосного вождя. Ура!

Ура! — вразброд бьет в стены комнаты.

Все встают и пьют. В центре стола, против меня, вытягивается стройно офицер с колодой карт в руке, делающий вид, что он опрокидывает стакан залпом, однако отставляющий его почти нетронутым. У него капитанские погоны, взгляд серых зрачков холоден и пристален, бреттерская надменность выражена в складке его сжатых губ.

— Карту доктору, — покачиваясь возле меня, произносит комендант. — Честное слово, доктор, бьете!

— Даю карту, — усаживаясь и сделав сдачу, говорит капитан негромко, но совершенно отчетливо. — Сто двадцать рублей, угодно?

В момент относительной тишины я заявляю, что у меня нет с собой денег и я не играю.

Пучеглазый молодой поручик придвигается ближе с пустым стаканом в руке.

— Га-спада, — старается он перекричать всех. — За полную победу доблестной армии и его императорское величество!.. А кто не согласен, в морду!

— Благородное слово офицера, — настаивает комендант, опускаясь на скамью. — У меня уже нет.... Доктор, берите карту, ва-банк!

Капитан сухо и выжидающе смотрит на меня.

Поднимается худой морщинистый офицер. Опираясь ладонями о стол, он всматривается в кулак банкомета. Ворот его тужурки неприятно заслюнявлен.

— Капитан, — произносит он. — Чорт возьми, откуда вы вытащили карту?

Капитан высокомерно щурится, черты его не меняются, но я успеваю заметить мгновенное подергивание выбритого подбородка.

— Вы пьяны, милый, — презрительно цедит он сквозь зубы. — Садитесь и не мешайте.

Глаза морщинистого офицера наливаются бешенством. Черные полосы теней бороздят его лицо.

— Шулер! — кричит он, трясясь и брызгая слюной. — Господа, это шулер! Девятьсот рублей моих где?

Бутылки со звоном двигаются на столе. Мохнатый дым обволакивает кричащих людей.

— Господа офицеры, — бормочет комендант, тупо уставясь в банкомета. — Честь мундира...

Пользуясь возникающей суматохой, я незаметно для всех исчезаю.

Свежий воздух хлещет в легкие и кажется необыкновенно чистым. На протяжении десятка шагов еще слышны гул и шум из ханы. Я иду и размышляю об офицерстве, об этих защитниках культуры и цивилизации.

В землянке у связистов горит свеча, прямо на полу поставлен полевой телефон, солдат, присев на корточки, слушает и говорит в него. После разгула у коменданта тишина здесь похожа на невозмутимый покой. Группа людей, среди которых есть и наши санитары, расположилась в углу. При моем появлении становится совсем тихо. Я здороваюсь и прошу телефониста вызвать башкейский лазарет.

— Передача приказа идет, ваше благородие, — отвечает мне связист, парень с лицом мастерового. — Вызывают штаб.

Аппарат производит слабое гудящее дребезжание, потом смолкает. Солдат припадает к блестящей сетке рупора.

— Ну, потянем Башкей, — кивает он мне.

Проходит немного минут переговоров с невидимым собеседником.

— Посылают, — наконец сообщает он мне.

В углу снова слышатся голоса, тихие, неторопливые. Вспыхивают огоньки самокруток. Очевидно, эта землянка служит для солдат клубом, где можно посидеть вдали от начальства, узнать новости.

В конце концов Башкей отзывается; у аппарата появляется ординатор лазарета. Телефонист уступает мне место. В нескольких словах я излагаю просьбу нашего госпиталя. Слегка картавящий, высокий голос отвечает мне. Все хорошо, медикаменты можно уделить, но с кем прислать? Люди все заняты, оказий не предвидится. Что делать?

Мы ищем выхода из положения, и Башкей вдруг спрашивает:

— А кто это говорит?

Я называю себя.

— А вы не киевского университета?

В ту же секунду интонации, тембр, характер голоса начинают казаться мне знакомыми. Ах, чорт возьми, не Левин ли говорит со мной?

— Да, — кричит он. — Это я! Я вас тоже узнал! Слушайте, как вы попали сюда?

Я почти взволнован. Это худой, длинношейный и длинноногий, чуть пришепетывающий студент, с маленькими черным глазами, всегда улыбающийся, работяга, милый юно-

на, один из тех, с кем проведены несколько лет на скамьях аудиторий и клиник и с кем судьба разметала как будто навсегда, вдруг оказывается здесь, в глубине Малой Азии, на другом конце провода. Чорт возьми, стоит протянуть руку, и можно его коснуться.

Внезапно микрофон издает длинное стенание. Все путается, выскакивают разные звуки, голос Левина проваливается. Какой-то бас нетерпеливо жужжит:

— Эй! Эй! Чайнар! Эй!

В тот момент, когда я сперва недоумеваю, а потом передаю телефонисту трубку, пониженный шопот Савельева входит в мои уши:

— ... нам, говорит, с другой стороны смотреть надобно. Ежели слушать всякую брехню, что пишут в энтих газетах господа, то выйдет, говорит, что все им отдай и мало. Сейчас опять брешут, говорит, что Канстяньтинополь этот самый главный пуп и есть, без него нет жизни русскому человеку. А какому такому русскому человеку? Русский человек русскому человеку не всегда ровня, говорит. Я вот, может, всю жизнь в опорках шлепаю, а его сызмальства в колясках катают, наряжают, деньгами обсыпают, домов кменных почитай не один, да я еще на него же и работаю. У него, может, и есть дело в Констяньтинополе, а у меня? Что мне, говорит, в нем, в Канстяньтинополе, ежели богатства у меня только одни мозоли. Тут, голуби, говорит, смекать надобно. Интерес в Канстяньтинополе есть, да не нам. Нам через этот Канстяньтинополь только свои штаны драные продавать можно. Теперь что у нас есть? Есть у нас, говорит, ружья. Так за них держаться надобно, еще пригодятся нам. Я, говорит, хучь по фельшарской части ...

— Да чего ты языком мельтешишь? — тоном предусмотрения останавливает его кто-то.

— Це, — вмешивается Аракел. — Правильный чалавэк тавариl. Надо парадка другой дэлат.

Я слушаю эти речи, мне непонятно, как солдат не сдерживает мое присутствие. «Что же это такое? — думаю я. — Неужели они уже не боятся вслух произносить слова, за которые им грозит беда?»

Прокричав вызовы и соединения и какие-то названия, телефонист вдруг, прикрыв ладонью трубку, оборачивается с остановившимся взглядом.

— Тише, ребята. Приказ передают. На заре — атака! — он прислушивается и добавляет: — Большое наступление на Сахарную.

В землянке становится сразу так тихо, точно никого нет. Звенит жалобным треньканьем аппарат. Атака! Все смотрят молча на черную змейку провода, бегущую по земле, на металлический, чуть поблескивающий обод раструба в руке солдата, на его уши, рот, лоб. В меня тоже проникает странное и жуткое ощущение, похожее на то, какое бывает во сне, когда что-то надвигается страшное и ноги наливаются свинцом.

— Теперь на всю ночь, — говорит потом телефонист. — Распоряжения, директивы. Большой бой завтра будет. Поди, не спится сейчас на позициях. Ваше благородие, — обращается он ко мне, — линия теперь не освободится. Есть! — кричит он тотчас в трубку. — Да, принимает Сатнис, давайте! Сатнис отвечает!

Проходит полчаса, час. Действительно, все время идут вызовы и передачи, провод занят непрерывно. Уже поздно. Гости начинают покидать землянку. Я тоже вылезаю.

Туман становится плотнее. Я думаю о тех, кто завтра должен умереть. Последняя их ночь встала над землей. Возле комендантского жилья меня обдает приглушенным шумом. Офицеры продолжают развлекаться. Впереди вырисовываются какие-то тени. Это возвращаются от телефониста наши люди. Я нагоняю их и иду, не отставая, как соглядатай, прислушиваясь к долетающим явственно словам:

— ... страшная штука, голуби. Которые сразу — хлоп! — это счастье, а вот другие мучаются, ногу разворочает или живот. Тогда плохо, ох, плохо, муками изойдешь. Вот тут лежит у нас тот, кому рот снесло, как мучается. Сколько горюшка, голуби.

Савельев вздыхает. Невыразимая печаль этих жалоб тает в тумане. Кто-то ворчливо говорит:

— С чого соплю распускать — страшно, страшно. Як за

дило, так нехай меня хочь на куски порубают. То тирько, что ни за понюшку тют юна пропадают люди к бесовой матери.

Голос Михайлюка, как всегда, угрюм и медлителен.

— Да, не спросясь нашей воли, гонют нас, — еще один вступает в разговор. — Вот ежели бы опросить весь народ, — дает мир полномочию за войну? — тогда — да. Тогда уж порешим — туда или сюда. Опять же, пущай земли добавят.

— Голова, — усмехается мрачно украинец. — Порешать треба, знаешь как? Бросать все и тикать, хай ищут нас. Кому любо воевать — оставайся, воюй. А мы — до свидания.

Аракел, причмокивая, укоряет:

— Це, нэ выдет так дэла. Твой — от пазицыи, а тэбэ — раз и расстрэлают. Тада хады дамой. Нада всэм как одна чэловэк хадит, и руже держат, нэ отдават. Вот как нада.

— Беда, голуби, — говорит веселым своим голосом Савельев. — Никуда, значит, не кинешься. Ежели, скажем...

Камень хрустит под моей ногой. Голоса смолкают. Расстояние между нами заметно увеличивается; фигуры смягчаются и расплываются. Я их спугнул.

Тут вдруг за моей спиной, довольно далеко, возникают неожиданные звуки, нестройное чередование криков.

Я прислушиваюсь, ритм кажется знакомым. Это «Боже, царя храни», распеваемое пьяными голосами.

Офицеры, уладившие, очевидно, свои карточные счеты, дышат свежим воздухом.

19

РАЗГОВОР НА ЧИСТОТУ

— Придется вам самому ехать в Башкей, — говорит мне на утро главный врач, когда я передаю ему свой разговор по телефону. — Добейтесь получения хотя бы пятисот граммов камфоры, а после возвращения Васильева мы отдадим. Выезжайте с утра. Кстати, — добавляет Василий Степанович, — предупредите там о Хлебникове. Мы его тоже отправляем завтра.

Речь идет о трузном, с седоватой щетиной небритой бороды, начальнике обоза одной из бригад. Осколком шаль-

ного, неизвестно как залетевшего снаряда подполковнику выдрало из поясницы кусок мякоти. То, что Хлебников — тыловик, всю кампанию отсиживающийся за непосредственной линией фронта, соответствует вполне его поведению сейчас: он боится крови, стонет, прежде чем врач успевает коснуться повязки. С настойчивостью почти панической он досаждает нам требованиями дальнейшей отправки, задерживающейся из-за отсутствия санитарных двуколок.

Дело, однако, не в ране, которая в сущности безобидна. Мы все ходим около этого человека, как около чаши с водой, которую легко нечаянно расплескать. У раненого обнаружилось выпячивание, содрогающееся ритмом пульса. Эта ускользающая из-под пальцев опухоль заставила нас немало поворочать мозгами. Наконец загадка была разоблачена: вздутие оказалось подкрыльцовой аневризмой. Перед этим утончившимся мешком сосудистой стенки, объизвествованном, потерявшем упругость, грозящем прорваться при любом поводе, мы стоим в бессилии. Работать на перерожденной артерии может только крепкий, опытный хирург. С такой операцией следует поторопиться, и вот мы решаем нашими собственными средствами передвинуть больного поближе к России, к крупным госпиталям.

— Заодно, если вам не трудно, — просит меня Василий Степанович, — зайдите к подполковнику и предупредите его, чтобы он готовился к отправке.

Тут мне вспоминается Корнев с его почечными камнями.

— Подвода наша достаточно вместительная, — говорю я, — и Корнев сможет, к тому же, ехать полусидя. Вы знаете, что ему каждую минуту угрожает анурия. Давайте отошлем их обоих.

Лицо главного врача темнеет: офицер и рядовой вместе в одном экипаже — это нарушение основ дисциплины. Проблема становится трудней именно оттого, что положение солдата, только что справившегося с закупоркой мочеточников, требует срочных мер.

— Что же тут можно сделать? — разводит он руками. — Разве только Хлебников сам согласится на такое соседство. Попробуйте побеседовать с ним.

И вот я иду в маленькую комнатку при канцелярии — кабинет главного врача, превращенный в палату для командного состава, — и говорю с раненым. Табачный запах густо примешан к воздуху. Когда я сажусь, глаза подполковника принимают испуганное выражение: он боится отдачи в койке сотрясения табурета. Известие о завтрашнем отъезде вызывает нескрываемое удовлетворение. Его желтоватые белки освещаются радостью.

— Вот хорошо, — говорит он, — а то я собирался скандалить. Безобразие!

— Никто не виноват, господин полковник, — отвечаю я. — Условия азиатского фронта.

— Условия, — хрипит он негодующе. — Боевому офицеру русской доблестной армии, царскому служаке, хоть из-под земли вынь да положь. Условия . . . — говорит он стихая. — Дай-ка пить.

Санитар, приставленный для ухода за офицером, приносит стакан с водой.

— Сволочь, — сердится начальник обоза. — Не можешь, чорт косолапый, ходить потише. Вот деревня стоеросовая, дубье!

Санитар мигает ресницами и, неуклюже и нелепо балансируя, отходит на цыпочках.

Я объясняю лежащему, что предстоящий путь трудноват, но лазарет предпримет все возможное, чтобы обеспечить наилучшую транспортировку. Он слушает довольный. Когда речь заходит о том, что главный врач просит разрешить отправить с ним, в силу крайней неотложности, и солдата, подполковник уставляется на меня.

— Нижнего чина? Да что это, доктор, вы вздумали смеяться. Ой . . . — стонет он внезапно. — Ой, спина!

— Но его жизнь в опасности, — вежливо сообщаю я, выждав некоторого успокоения. — Он доедет с вами только до ближайшего госпиталя. Вы спасете, господин полковник, одного из тех русских солдат, которые беззаветно проливают кровь за веру, царя и отечество, — добавляю я патетически.

— Дворянин и офицер, — бормочет, багровея, раненый, — вместе чорт знает с кем. Оскорбление мундира . . .

— Ничего мундиру не сделается, — говорю я резко и тотчас спохватываюсь. — Ведь это исключение, вполне извиняющее обстоятельство, и вы проявите до некоторой степени героизм, господин полковник, поступаясь временно своими преимуществами. И затем, — решительно лгу я, — таково обязательное условие, которое ставит главный врач для немедленной вашей эвакуации. У нас не остается больше транспорта.

В конце концов начальник обоза после внутренней борьбы соглашается. Чтобы совершенно сгладить неприятный осадок от нашей беседы, я задерживаюсь еще на несколько минут, которые посвящаю советам, как вести себя в пути, и предупреждениям беречь себя, не волноваться. Расстаемся мы почти друзьями.

Его потная рыхловатая ладонь осторожно пожимает мою руку.

На следующий день, выехав с восходом солнца, я попадаю в Башкей часам к двенадцати. В здешнем лазарете почти такая же картина, как и у нас, только палаты выглядят несколько комфортабельнее и просторнее, большая часть больных расположена в достаточно сохранившихся, вместительных ханах. Левин совершенно не изменился; только сапоги, гимнастерка, потоны и густая загорелость странно вмешиваются в его облик застенчивого еврейского юноши-экстерна. Несколько часов пролетает незаметно в воспоминаниях.

Пообедав и заполучив пакет медикаментов, я отправляюсь в обратный путь. Горы играют дорогой. Они придвигают ее к себе, потом отбегают в стороны, потом начинают ее кружить вокруг пропастей и вершин. Конь осторожно упирается копытами. «Неужели здесь когда-то двигался наш обоз? — не верится мне. — Чорт возьми, каким чудом, значит, нас проносило!»

Я, как следопыт, узнаю свое местоположение по камням, по цвету скалы, по растительности. Обрыв в зарослях барбариса — это половина пути. Кусты, обрызганные пурпуром ягод, как кровью, цепляются за расщелины и тянутся кверху.

Но вот далеко внизу на дороге показываются темное

пятно. Вскоре становятся заметными экипаж, человек и лошадь, приплюснутые расстоянием, игрушечные, еле плетущиеся. Бинокль подбрасывает ко мне путешественников. Вот оно что! У передка шагает обозный Михайлюк, украинец, а в коробке подводы видны две шинели и головы, торчащие из них. Бурбонистая челюсть Хлебникова неоспорима. Ага, значит подполковник сдержал слово до конца!

Вдруг движение прекращается.

Кусты барбариса, как засада, превращают меня в незримого свидетеля.

В бинокль отлично видна стоящая внизу упряжка. Миниатюрный Михайлюк подходит к обочине телеги, можно подумать, что он молча рассматривает лежащих, а между тем заметно, что там разговаривают. Вдруг рука подполковника взлетает торчком: раненый потрясает ею. Затем она исчезает и, тотчас появившись, выбрасывается вперед. Непонятный черный палец повисает перед грудью санитара.

Это браунинг.

Крохотное солнце, как стекло, сверкает на его дуле.

Дальше все совершается молниеносно. Солдат наносит удар, черный палец вырывается и, падая, делает, как подсеченная на лету птица, черную дугу. В ту же секунду Михайлюк поднимает с земли револьвер и направляет его в офицера. Туловище подполковника оседает. Так проходит немного времени, затем голова его, роняя фуражку, откидывается, блестя лысиной. Шинель содрогается, точно под ней пробегает волна. Все на мгновение остается неподвижным, потом санитар наклоняется и бьет сразмаха по лицу нешевелящегося начальника обоза.

Я кричу изо всех сил.

Когда мы сходимся, Михайлюк, расставив ноги, курит и смотрит исподлобья на уши моей лошади. Изгиб шеи подполковника неестественен.

Достаточно одного прикосновения к застывшей кисти, чтобы убедиться, что всякая помощь бесполезна. Он мертв.

Тощий Корнев, с пергаментной кожей нефритика, растерянно жмется к углу подводы.

— Что случилось? — спрашиваю я Михайлюка. — Говори правду. Я все видел.

Солдат переводит на меня тяжелый, недобрый взгляд. В нем нет ни ошеломленности, ни страха, ни раскаяния.

— А с чего мне ховаться? — говорит он медленно. — Нехай от цей земляк скажет. Сам вмер, я ж его и не трогал.

Эта неторопливость, это скупое, почти апатичное разжимание губ, эта флегматичная неподатливость всей приземистой фигуры делают непостижимым стремительность недавнего нападения.

— Расскажи, как было, — требую я сурово. — Знаешь, чем это пахнет?

Бумага цыгарки — обрывок газеты — тлеет в его пальцах и сворачивается мелкими раковинами обуглинок.

— Та вси ж одно, — роняет он нехотя и переставляет ноги. Сапоги его толсты, покрыты ржавой от дегтя пылью и словно говорят о грубой, неприветной, неласковой жизни. — Их благородию тюфяку одного показалось мало. «Тащи, — сказал он, — из-под его другий для меня. Не важна птица, и на досках доидет». И велит мне скидывать его с тюфяку. А хлопцу и так все кишки поразмотало. «Ваше высокоблагородие,—кажу я,—як же можно. Он тоже ж человик и хвороба у его великая». Сказився их благородие, чи що, тылько кинувся палить в меня. Я не дався, а тут очи у него и закатились. Так сам и вмер.

Я понимаю, что сердце Хлебникова, склеротическое, перерожденное, вероятно алкоголическое, не перенесло потрясения.

Этот толстый подполковник, с его седоватой щетиной, с остекляневшими глазами, с неудобно повернутой головой, точно прислушивающийся к нашему разговору; узкоплечий Корнев, еще не пришедший в себя, скрючившийся, чтобы дать место офицеру; ненависть солдата, вымещающего на мертвеце долгие обиды; и мое присутствие здесь, — все спутывается в клубок. Что же теперь делать?

— Ну, ладно, — произношу я сдержанно. — Отправляйся в Башкей. Потом разберем, когда вернешься.

Конь уносит меня от телеги, и в последнюю минуту

я ловлю жест санитара, натягивающего шинель на лицо трупа.

На другой день поздно вечером, когда мы сидим и ужинаем, за стеной одиноко грохочет подвода.

— Наш из Башкея, — говорит Михин, отдуваясь после третьего стакана чая. — Чего это он так задержался? Я его ждал часам к четырем.

Напряжение входит в мои мускулы, однако я делаю усилие, поднимаюсь и шагаю к дверям. Мне хочется успеть показать Михайлюку, что он может рассчитывать на мое молчание и не бояться меня. Но с передка соскакивает незнакомый парень.

— Ваше благородие, — обращается он ко мне. — Кому тут сдать казенное имущество?

— Какое имущество?

— Да вот, коней, стало быть, дроти, тюфяки. Все это ваше. Тут и бумаги при мне, ваше благородие.

— Позволь-ка, а где же наш человек?

Губы прибывшего расплываются; он чувствует, что привез новость. Шаря рукой в обшлаге, солдат весело говорит:

— А кто ж его знает? Сгинул, прямо сказать. Сдал упокойника, их усошнее благородие, и больного одного при нем, все честь честью, потом повечерял с нами и спать будто уложился. А на утро, как выезжать обратно, — нет его. Мы уже везде обшарили, нет его и нет. Так и не объявился. Не иначе, как утек. А с чего — неизвестно. Вот и бумаги, ваше благородие. Куда прикажете представить?

Появляется Михин.

Я молча передаю ему пакет.

20

БИБЛЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ

Приходит от дивизионного врача предписание немедленно выделить перевязочный отряд и направить его в район расположения штаба третьей бригады. На другой день я, два фельдшера и пять санитаров, снабженные соответствую-

щими материалами, тронемся на подводе в сторону фронта. Недовольный уменьшением персонала, главный врач дает нам последние инструкции. Предполагается, что поездка протянется с неделю, пока перебросят врачей из резерва корпуса.

— Не задерживайтесь, — повторяет Василий Степанович. — Как только прибудут их врачи, торопитесь вернуться. Помните, мы перегружены.

Меня снабжают картой и верховой лошадью. Черные тоненькие линии на бумаге, многократно пересекающиеся, содержат и наш путь; я слежу за ним; кружки, крестики, обозначения — селения, перевалы, речки — лежат на дороге. Нам предстоит добраться до Сагниса, это сейчас же за позициями, и здесь развернуть перевязочный пункт. У меня револьвер, под передком телеги сложены винтовки. Это вооружение заставляет меня помнить о том, что мы едем по вражеской стране и что могут быть сюрпризы.

Однако никаких сюрпризов не происходит. Дорога поднимается в горы, крутится над обрывами, иногда разбегается по небольшим лощинам — обычный пейзаж в этих отрогах Тавра.

Там, где по карте должны быть селения и жители, мы встречаем чаще всего развалины, груду камней, в очертаниях которых можно различить формы бывших жилищ. Если кой-где вьется дымок, слышны голоса, белеет распластанное для сушки белье, то это оказывается русский военный пост, этапное становище, какая-нибудь полевая интендантская база. Мы останавливаемся, соскакиваем с телеги, к нам выбегают солдаты, истомившиеся от однообразия. Потом откуда-то появляется офицер, расхлястанный, зевающий, распухший от сна и безделья; он меня забрасывает вопросами, точно я приехал из России, от шумных городов, и полон последними сногсшибательными новостями. На привалах нас угощают чаем, едой. В Булуджане заканчивается дневной перегон. Мы ужинаем кашей, пьем кирпичный напиток, пахнущий жестью, и засыпаем под открытым звездным небом. Рассвет будит нас свежестью, и, пока санитары запрягают, рябоватый прапорщик с тиком, в огромной па-

пахе, припадающий на левую ногу, с шинелью внакидку, сочувственно говорит мне:

— В дикие места едете, доктор, такая глушь, камни и небо. — Затем в голосе его пробивается любопытство: — Вы ничего не слыхали новенького? Все-таки вас бог несет оттуда.

— Насчет чего новенькое? — спрашиваю я.

— Скоро ли кончать будут? Надо бы мириться, — подмигивая через каждые две-три минуты дергающимися веком и щекой, убеждает он меня, точно все зависит от моей особы. — А то, знаете, иногда думаешь, не забыли ли там, что конец бывает. Домой хочется. Зря мы тут околачиваемся. Мир бы поскорей.

Заметив мое недоумение, он продолжает:

— Я ведь не кадровик, я из народных учителей. Мобилизован, а потом послан в военное училище. Один раз меня уже хватануло, еле уцелел. Никакого вкуса воевать нет у меня. Эй, вы, куда? — кричит он вдруг в сторону.

Два солдата, разутые, идут куда-то, за поясами у них торчат ручные гранаты. Окрик офицера заставляет их вернуться.

— За рыбой, ваше благородие, — докладывает худой светлый парень.

— Нечего, отставить. Пойдете отрядом, днем, — распоряжается прапорщик. — Забыли про Митрофанова, что ли? И чего вы на рожон лезете!

Он мне объясняет, что люди из команды охотятся в недалекой речонке за рыбой. Курды, бродящие где-то в горах, привлекаемые выстрелами, нападают на одиночек; так недели две назад пропал солдат Митрофанов, страстный любитель свежей ухи; даже косточек его не сыскали.

— Вы с опаской держитесь здесь, — напутствует он нас. — Правда, вам не долго, скоро выберетесь на спокойную колею.

И действительно, часа через два мы достигаем селенья Шейх-Селимкей; здесь наша дорога перекрещивается с большой проезжей дорогой, над которой поработали саперные части. Прекрасный колесный путь, годный даже для автомобилей, развертывается в обе стороны. Я справляюсь с картой и вижу, что эта дорога от Шейх-Селимкея совершает

дугу с тем, чтобы далеко позади Кизил-Чубука, возле Бармаксиса, снова слиться с коротким, но трудным, прямым, как хорда, направлением через горы, которым двигался в свое время, выйдя из Эрзерума, наш лазарет. Теперь становится понятным, почему главная масса войск и эвакуация командного состава минует Кизил-Чубук. Все это пользуется более растянутой, но зато значительно более удобной коммуникацией.

В уцелевшем селении Шейх-Селимкей, как ни удивительно, живут греки. На уличках показывается народ, даже мелькают дети, черномазые, замызганные, в фесках.

— Вам в Сагнис? О, это пустяки, милсдарь, — скороговоркой произносит комендант, усатый рыжий человек. — Все прямо, прямо, никуда не сворачивая. К вечеру попадете. Да чего вам на карту смотреть? Прямо, прямо и попадете. Там комендантом штабс-капитан Шахтюра, душа-человек. Вы ему от меня привет непременно передайте. Скажите — от Закревского.

Странное обращение военного «милсдарь» несколько поражает, как отголосок другого века. Я спрашиваю его про дела на фронте.

— Превосходно, как нельзя лучше, — отвечает он словоохотливо. — Конечно, враг напрягает все усилия, но, милсдарь, перед русским солдатом устоять трудно.

— Почему же однако корпус так долго не движется вперед? — спрашиваю я.

— Стратегические соображения, надо линию держать, равнять фланги. Кроме того природные условия весьма препятствуют. Но русский солдат костьми ляжет за святое дело.

На прощанье комендант снова повторяет:

— Кланяйтесь же, милсдарь, штабс-капитану Шахтюре от его полкового товарища Закревского. Счастливый человек — штабс-капитан. Везет ему. Всегда во-время горит.

Он тотчас поясняет:

— Видите ли, в Джебаке горел его склад, а рыльце-то у него в пушку было. Ну, сами понимаете, милсдарь, там, где пожар, — концов не найти. Счастливый человек! — с завистью говорит он.

Теперь мы едем широким подъемом, гладким, бегущим лентой на перевал. Навстречу тянутся обозы, длинные транспорты осетинок, пехотные части, трясутся санитарные двуколки. С вершины открываются далекие пропасти и исчезающие между склонами ущелья. Разрушенные Авзаперт, Чирмэ, Бодэ, Козлу, представляющие собой кучу придорожных камней, остаются за нами. Бросается в глаза обилие человеческих костей, местами собранных небольшими холмиками. Среди рассыпавшихся позвонков, лопаток, ребер выпирают череп, похожие на отполированные шары. Откуда их такое множество? Они попадаются на протяжении десятков верст, сопровождая, как чудовищный посев, наш путь. «Сражаются тысячи, а гибнут десятки тысяч» — вспоминаю я слова доктора Милевского. — Неужели это остатки тех десятков тысяч русских солдат?» Недалеко от Хошкара нас перегоняет удобный рессорный экипаж. Штабной офицер, полковник с черной бородкой, сидит в нем, к задку привязаны погребец, кожаный чемодан и портплед.

В Хошкаре, в комендантской столовой за обедом, мы снова встречаемся и дальше едем вместе; я — верхом, он — в своем фаэтоне. Полковник тоже направляется в Сагнис, в районе которого ему поручено инспектировать позиционные части.

День солнечный, несмотря на осень, почти жаркий. Небо бессменно синего цвета парит над головой. Горы однообразны. Увядшие травы блеклыми полосами стелются на откосах. Мы натыкаемся на батальон, в походном строю отдыхающий вдоль дороги. Солдаты сидят на камнях, на шинелях. Нас молча провожают взглядами. Внизу бьет ключ, солдаты сбегают к нему, толпятся возле воды.

— А ведь их ждут дома, — говорю я. — Увы, пройдут наверно годы, прежде чем там узнают о судьбах своих близких.

Пыль пудрит лоб полковника, делая пегими бородку, усы, его непонимающее лицо. Я указываю на груду костей, сваленных в углублении земли.

— У этих людей нет дома, — отвечает он. — Жилища у них отняты, имущество уничтожено, мужчины вырезаны. Да о ком, доктор, собственно, вы говорите? — спрашивает он, заметив мое удивление.

— Вот о них, о погибших солдатах.

Под усами полковника губы складываются в улыбку.

— Вы ошибаетесь. Никакие это не солдаты. То, что вы видите, это следы одной мрачной были. В общих чертах она известна. Ее авторы даже не находили нужным скрывать эту историю. Вам знакомы имена Талаат-паши, Энвер-паши, Джевэт-паши?

Я киваю головой:

— Да, слышал. Это младотурецкие деятели, не то генералы, не то министры.

— И то и другое, и генералы и министры. Одним словом, руководители теперешней Турции. Знаете, что они придумали?

И пока версты идут за верстами, пока дорога то спускается, то поднимается, и ландшафт медленно передвигается вместе с нею, полковник излагает мне одну из самых исключительных жестокостей, придуманных человеком. В Эрзерумском вилайете и в ряде других по приказу военного командования вырезали армян, чтобы не оставалось среди населения турецких округов элемента, ненадежного и внушавшего опасения, особенно при перемене боевого счастья. Мобилизованных мужчин частью послали на работы в фронтовую полосу, а потом оттянули в тыл и расстреляли, частью расстреляли без всякой проволочки. Женщин, детей, стариков и старух собрали со всех деревень и городов и погнали партиями в глубину страны по самым диким местам. Конвой получал инструкции не церемониться, торопиться, не делать остановок для отдыха. Отстающих убивали, сбрасывали с круч, в реки; наиболее молодых отдавали в гаремы курдам, разбирали по рукам, просто насиловали. Это было шествие обреченных. К пунктам назначения доходили единицы, чтобы тотчас попасть в тюрьмы. Безнаказанное истребление целой нации длилось месяцами. Из двух с половиной миллионов осталась едва сотня-другая тысяч, — вот что дал план Талаата и Энвера. Скелеты этих несчастных можно видеть по всем дорогам.

— После войны, — говорит полковник, — раскроются, вероятно, еще более страшные вещи.

Я вспоминаю, что нахожусь сейчас на почве, орошаемой Тигром и Евфратом, конь мой ступает по ветхозаветной земле, и экзотика этих мест начинает казаться страшной. Услышанное вызывает во мне возмущение и сострадание, но вместе с тем в моей голове возникают непредусмотренные полковником ассоциации.

— Господин полковник, — говорю я, — турки совершили, значит, чудовищные жестокости.

— Да, это хуже гуннов!

— Но они, вероятно, находили, что военные задачи требуют подобных мероприятий.

— Никакая военная обстановка не может требовать таких зверств, — авторитетно возражает он. — Старики, женщины, дети, — при чем здесь военные задачи?

— Наша армия никогда не позволила бы себе ничего похожего, не правда ли? — спрашиваю я простодушно.

— Безусловно. Я даже не понимаю такого вопроса, — с некоторой настороженностью произносит он.

— Как же вы назовете, господин полковник, приказ нашего командования об очищении занятой нами в свое время Галиции от целой народности? Эту часть населения только потому, что она молится другому богу, ходит в синагогу и чтит субботу, а не воскресенье, взяли под подозрение в штабе и выгнали из родных мест при ужасающих условиях разорения, голода и погромов. Что это такое?

Теперь взгляд его, внимательно на меня устремленный, принимает выражение явного пренебрежения, однако он не успевает ничего ответить.

— Как бы мне не растерять своих людей, — прерываю я самого себя. — Они здорово отстали. Всего хорошего, господин полковник.

Я натягиваю повод и отъезжаю от экипажа. В этот момент раздается звук, точно где-то далеко в глубину пропасти упал огромный камень. Когда приближается моя лазаретная подвода с санитарами, еще два раза — один за другим — повторяется этот смутно рокочущий гул. Воздух сотрясается глухо и невнятно.

Синева неба становится матовой. Дорога делает зигзаги,

портится, ползет кверху. В лощинах уже копятся сумерки. Вечер идет на землю.

— Стрелаит, — говорит Аракел, приподнимаясь на передке и глядя вперед. — Артэлерия стрэлаит.

21

ГРОМ ПОБЕДЫ

Черный с языком пламени столб, внезапно появляющийся, держится секунду, потом рассыпается, оставляя серое, рваное облако. Раздается короткий и сухой гром. Каждые пять минут это повторяется. В одном углу селения разгорается зарево. Кругом стоят спокойные горы.

Я еще никогда не видел канонады, и это зрелище ударов и мгновенных черно-огненных вспышек производит впечатление необчайной стальной, непреодолимой силы.

Сагнис лежит на плоском, как кисть, выступе, между склонами двух гор. Его домики жмутся друг к другу. Перед въездом в него нам попадаются бегущие люди, женщины с детьми, смуглые мужчины тащат скарб, гонят коз, буйволов, ослов. Пыль вьется над ними. Скот мычит, человеческие голоса, тонкие, хриплые, гортанные, кричат на чужом языке.

Аракел расспрашивает встречных.

— Бэда, — говорит он мне. — Много луды умирают. Никада нэ стрэлалэ, сегодня стрэлял. Всо — пажар, все пропал.

Однако еще не все — пожар, и не все пропало, как это кажется бегущим; мы двигаемся дальше и въезжаем в селение. В узких уличках с мохнатой пылью стоит невообразимая сутолока, жители суетятся вперемежку с солдатами. При свисте снаряда все шарахаются к стенкам. Время от времени долетает ружейная трескотня. Мы с трудом пробираемся к штабу. В одном месте дорогу запружает толпа: несут раненых. Это первые жертвы.

Начинает темнеть.

Помещение штаба, состоящее из нескольких комнат с теми же земляными полами и потолками, полно офицеров. Розовый моложавый генерал с закрученными пушистыми

усами, плотный, широкоплечий, с тщательно зачесанной лысиной, наклоняется, поставив ногу на табурет, над картой. Лампа под жестяным абажуром свисает с потолка. За стеной слышна работа телефонистов. Один из писарей сообщает мне, что бригадного врача сейчас нет, он объезжает полковые санитарные учреждения. Адъютант с прыщавым невыспавшимся лицом и красными глазами докладывает что-то генералу.

— Врут сообщения! — отрезает генерал. — Не может быть, чтобы нельзя было обнаружить. Да откуда они взялись? Заставить замолчать!

— Шестнадцатый пластунский полк доносит, что обойти гребень невозможно по природным условиям. Перекидной огонь оказался недействительным. Если бы усилить фланкирующий дивизион...

Генерал кусает усы.

Где-то близко ударяет гром; пол содрогается. Генерал осматривается, взгляд его бегает.

Я подхожу и рапортую о прибытии.

— Что такое? — поднимает генерал голову. — Угу... Перевязочный пункт. Так это вы к бригадному врачу обратитесь. Что? Отсутствует? Впрочем, поговорите с дежурным офицером.

Дежурный офицер, прочитав предписание Василия Степановича, дает мне совет сразу же устраиваться и развертывать работу, а помещение отведет комендант.

— Тут, как видите, не до вас, — прибавляет он.

Мы снова пробираемся через толпу целым шествием: подвода, санитары, мой конь, я. Канонада усиливается, пронизывающий вой все чаще режет параболически воздух. Темнеет, и загораются первые звезды. На домах, на земле, на людях колеблются и прыгают длинные черные тени и багровые отблески пожара. Деревня горит в разных местах.

У хаты коменданта не прекращается движение. Вбегают и выбегают солдаты. У меня такое впечатление, точно готовится эвакуация. Вдруг я вижу знакомый рессорный экипаж, но в каком состоянии! Он без лошадей, на трех колесах, пыльный лак его покороблен.

— Вот! — кричит при моем входе человек с бородкой, в котором я тотчас узнаю полковника, моего недавнего спутника. — У него прекрасная подвода. Дайте ее мне.

Комендант, поджарый, с черными усиками и ускользающим взглядом штабс-капитан, разводит руками.

— Я не в праве, господин полковник, поймите...

— Чорт побери, — кричит снова полковник. — Тогда я приказываю, за моей ответственностью. Я контужен. Заберите сейчас же подводу.

Мне становится понятным, о чем идет речь.

— Простите, господин полковник, — вмешиваюсь я, — эта подвода — имущество госпиталя. Для больных есть санитарный транспорт.

— Санитарного транспорта нет сейчас здесь, — перебивает он меня. — Вы уступите мне под расписку. Вы обязаны. Ваши мысли слишком для меня ясны. Русский офицер...

Нарастающий визг, затем взрыв съедают на минуту все звуки. Лицо полковника искажается.

— Да дадите вы мне выбраться отсюда! — накидывается он на коменданта. — Неужели вы хотите, чтобы меня добило здесь? Да вы не смеете!

Вбегает солдат.

— Ваше скородие, — вытягивается он перед комендантом. — В склад номер три вдарило. Горит!

Комендант молчит, потом потирает взволнованно ладони.

— Да что ты? — произносит он придушенным голосом, в котором однако как будто нет никакого огорчения. — Да как же это так? — Точно опомнившись, он кричит на солдата: — Принять все меры! Сейчас же! Только где взять людей? — говорит он грустно. — Всех разослали, негде взять. Ну, пойди туда, — обращается он к солдату, — посмотри, голубчик, как там.

— Господин комендант, — говорю я. — Уже два часа мной потрачено бесплодно. Сейчас в селении много пострадавших. Отведите мне помещение. Я должен развернуть немедленно перевязочный пункт, так как здесь нет ни одного врача.

— А вы откуда? — спрашивает он. — У нас врачи есть, и раненых уже давно свозят на пункт.

Я хлопаю глазами. Что такое? Я показываю ему предписание, начинающееся словами: «В виду отсутствия в районе штаба бригады медицинской помощи, предлагаю вам...» и т. д.

— Пойдите, убедитесь, — пожимает плечами комендант. — Болдырев, проводи в лазарет.

На улице светло от взошедшей луны. Суета не стихает. Наша подвода катится среди снующих людей. Провожающий Болдырев разговаривает с моими санитарами.

— Это чистая находка нашему Шахтюре, — говорит он. — Ведь итти б ему под суд, ежели б не этот случай. Сколько добра распродал он, домой отослал, где б ему оправдаться, а тут вдруг снарядом вдарило и сожгло. Поди теперь подсчитай. Это ему большая радость. Завтра беспременно весь день коньяк жрать будет.

Тут я вспоминаю о поклоне от полкового товарища Закревского штабс-капитану Шахтюре. Действительно, везет этому Шахтюре на пожары!

Вскоре мы попадаем в сносно оборудованное помещение, где два врача и несколько фельдшеров при свете ламп, развешанных по углам, работают на деревянных столах. Санитары уносят и приносят раненых. Да, комендант совершенно прав.

Старший врач, еще молодой, со стремительными движениями, окончив перевязку, моет руки. Я рассказываю ему о нелепой моей командировке, где два дня ушло на дорогу сюда, два дня уйдет на дорогу обратно, и все это затем, чтобы узнать, что поездка не нужна была. А в Кизил-Чубуке в это время дорог каждый человек. Под конец я все-таки предлагаю свои услуги.

— Да нет, зачем же, — возражает он энергично. — Отдохните лучше перед обратным путешествием. Ведь мы здесь уже с утра. Странно, как это вам в штабе не сказали. Я же туда ходил часа три назад к одному полковнику, прибывшему из корпуса. Около него снаряд разорвался, самого только землей обсыпало, а он требовал, чтобы признали травматическую контузию и немедленно, в первую очередь, его отправили. Ох, эти штабные, не любят они пороха. Час це-

лый спорили. А вам и не сказали, что мы здесь. Странно!

Подходит младший врач, за ним солдат, весь в веснушках, с красным от смущения, но все-таки решительным лицом. Левую кисть свою, только что освобожденную от тряпок и бинтов, обожженную и простреляннную, он держит правой рукой.

— Вот еще один самострел, — говорит подошедший доктор, указывая на раненую ладонь. — Только очень уж неумелый. Воспользовался случаем, что в сторожевое охранение послали. Ведь вот несмышленыш.

Старший врач машет рукой.

— Чего их показывать мне, я этих палечников перевидал за мое почтение.

Когда солдат удаляется на перевязку, он добавляет:

— Конечно, под суд пойдет. Но только разве для него несчастье? Он рад: жив останется зато.

Я делаю глубокомысленное лицо.

— Скажите, пожалуйста, ай-яй-яй, — говорю я. — Где же долг перед родиной, присяга?

Старший врач в улыбке показывает прокуренные зубы.

— Присяга? Да он только и ждет, чтобы вырваться отсюда какой угодно ценой. Иду, иду! — кричит он в сторону своего стола, на котором уже уложен человек с обмотанной головой. — Ну, коллега, простите.

Канонада внезапно стихает.

Я отправляюсь в штаб подать рапорт об отбытии, так как решаю выехать на рассвете. Генерал за тем же столом диктует невыспавшемуся адъютанту донесение. Я разговариваю с дежурным офицером.

— Отогнали противника? — спрашиваю я. — Наконец-то!

Дежурный оказывается разговорчивым. Он тихо отвечает:

— Нет, так и не нашли. Ведь подумайте, позиции отсюда верст за пятнадцать, а какими-то тропинками их горная батарея забралась в непроходимое место и жарила по нас. Постреляла, постреляла и сама ушла. Как провалилась.

Сквозь шопот офицера доносится скандирующий голос генерала:

— ... доблестные части, обнаружив молодецким поиском

врага, пытавшегося прорваться в наш тыл превосходными силами при поддержке артиллерии, остановили противника и перешли в атаку. Турки, не выдержав удара, откатились. Потери выясняются...

22

НА ВЫСОТАХ

С утра низко сгрудились тучи, прошумел дождь, замесилась расстрелянная пыль. Потом грязь подсохла, только в ямках застоялись крохотные палевые пруды. Тропинку, ведущую наверх, иногда пересекают ручьи. Гассан бодрее всех в этой кучке ребят. Он живописен в своих лохмотьях и легко несет на плечах Сараджинику. Щеки ее перемазаны, и косички из-под повязки треплются змейками на тоненькой смуглой шее, охваченной кумачевым, в вычурных цветах, воротом грязной заплатанной кофточки.

— Ты бы сразу попросил Измаила сказать мне, — говорю я Гассану на нашем тарабарском наречии, вспоминая непонятую мной во время сборов с Михиным на охоту речь мальчика, — а то я никак не мог догадаться, что ты меня в гости зовешь.

Из-под ног с шумом вырывается мутная пенистая вода. Он двумя прыжками переносится через нее, черномазая девочка держится, как амазонка. Остальные скачут за ними, как воробьи.

— Я думал, что паша-дохтар совсем нет времени, — отвечает на том же путаном языке Гассан. — Но дальше ждать нехорошо. Скоро много грязи будет на дороге.

Эти пять дней после возвращения с позиций навалились на меня трудом и непрерывной с зари до заката работой. Действительно, мальчик прав относительно времени. Только сегодня удалось вырваться.

— А вдруг, Гассан, ваши будут недовольны моим появлением? Ведь я чужой.

Черная, с сизым, как нефть, отливом, птица машет в стороне крыльями. Здесь, на высоте, гуляет ветер. Лохмотья Гассана хотят улететь.

— Нет, паша-дохтар вовсе не есть чужой, — отвечает улыбаясь мальчик. — Паша-дохтар есть как надо. Паша-дохтар уже знают и ждут. Вон, — подымает он руку.

Высоко вверху протягивается темная линия земли и камня, а за нею серая сталь неба. Больше ничего не видно.

— Есть люди, которых надо бояться. На кого падает тень такого человека, тот должен призывать пророка, — говорит Гассан, как взрослый, словами, отражающими подслушанную мудрость стариков.

— Разве тебя обижают? — спрашиваю я.

Он качает головой:

— Нет. Кому я нужен? В селении нехорошо.

Тропинка, вытоптанная среди обломков скал, изгибается и делается круче. Долина внизу поворачивается вокруг себя. Гассан посвящает меня в историю появления в деревне человека с солдатами.

Пришедший был начальником солдат, — рассказывает мальчик. — Он ходил от дома к дому и спрашивал у каждого порога девушку. Был уже вечер. Наконец в одном месте ему сказали, что девушка, которую он ищет, живет здесь.

Начальник посмотрел на дом и сказал, что ему нужно переночевать в селении и он остановится в этом доме. Начальника все слушали, и Фардахан ответил, что жилище к услугам начальника. Начальник велел позвать девушку, так как он хочет сидеть и говорить с ней до сна. Три солдата с ружьями стояли возле него. Девушку позвали, он просил, чтобы она сняла покрывало. В это время пришел Хашанур, старшина; отец девушки позвал его. За дверями собрались люди селения. Они боялись за девушку и боялись солдат. Старшина говорил, что селение бедное и жители бедные, у них ничего нет, кроме стариков и детей, и по святому закону девушка не может сидеть с мужчиной не их племени, и чужой мужчина не должен видеть лица девушки, иначе она станет нечистой. Так учит нерушимо Коран. Но начальник не слушал. Солдаты с ружьями стояли около него, он притянул к себе девушку и открыл ее лицо. За стеной шумели люди, девушка хотела кричать, но Ха-

шанур сказал, что лучше одна жертва, чем много жертв, и пусть народ спрячет свой гнев, — да будет благословенна мудрость Аллаха! Начальник слышал шум за стеной. Он не причинил больше девушке никакого вреда и говорил, что ему ничего не надо, как только видеть ее. Ночью солдаты охраняли его сон. На заре он ушел и сказал, что придет опять. Это было два дня назад. Тень начальника упала на селение. — Народ теперь много боится, — заканчивает мальчик, — но паша-дохтар не есть такой человек. Ему будут рады, так как тень его светлая и шаги сеют добро.

Цветистая тирада не производит никакого впечатления на меня, пораженного рассказом о девушке и о похождении начальника.

Минута проходит в молчании.

— Ничего, Гассан, — говорю я и кладу руку на его плечо.— Можешь успокоить своих. Начальник не будет пугать население, он не разбойник.

Дорога теперь возносится прямой линией. Она усеяна огромным количеством камней, точно здесь был взрыв. Брюхатые отроги кряжей опрокинулись во все стороны. На месте Кизил-Чубука виднеется серое пятно, прижавшееся вплотную к узкому серебру Кара-Су, и в этом пятне наши гесенские шатры белеют, как бумага, кем-то оброненная. Подъем крут. Становится жарко. Гассан машет кому-то. Наконец вырисовываются очертания чего-то, напоминающего край парапета.

Жители встречают нас у первых хан, с плоских крыш которых свисают сухие сучья кустарника, вмазанного в ноздреватую глину. Стены теснятся друг к другу и образуют то, что казалось парапетом. Деревня раскинулась как бы на плоскогории вершины, и улицы ее коротки.

— Селям аллейкум, — говорю я.

Мне отвечают и улыбаются; кой-кого я узнаю. В облике и манерах этих людей, не терявших сдержанности даже внизу, в Кизил-Чубуке, при безмолвных поисках подаяния, теперь сильнее проступают медлительность и достоинство. Почти непонятно, как можно было сохранить в теперешних

условиях эту осанку независимости. Зато женщины сотбенны, торопливы. Покрывала окутывают их, как саваны.

Гассан сопровождает меня с видом героя. Сараджинка уже ускакала. Покороблённый переулочек выводит нас к чистенькой площадке, гладко утоптанной, несущей отдельно расположенную большую хану. Там стоит толпа. Два пожилых курда направляются ко мне.

Между ними согнулось в три погибели человеческое существо, которого осторожно и почтительно держат под локти. Белая чалма трижды свита на голове старика. Кисти и голени его скрючены, узлы ревматизма исковеркали их.

— Хашанур, — шепчет Гассан и скрывается за моей спиной.

Сколько этому человеку лет? У него глаза вещуна, брови лохматы и спутаны, как заросли над входом в пещеру.

Старшина стоит теперь против меня. Его позвоночник переломлен старостью, седина бороды желта от времени и трясется. Он высвобождает одну руку и с усилием доносит концы изуродованных пальцев ко лбу. Затем ветхий голос произносит ломкие слова, звучащие напевом молитвы. Люди вокруг молчаливы и серьезны. Глубокое внимание делает их лица сосредоточенными.

Надо отвечать, и я произношу несколько слов.

Они меня не понимают, а я не понимаю ни одного слова из речи старика, но обе стороны довольны, так как хорошие чувства высказаны. Ревматика уводят. Детвора окружает меня. Я вытаскиваю свой запас леденцов и произвожу сдержанную, но с восточной точки зрения неописуемую сенсацию среди малышей. В конце концов матери приносят двухлеток и однолеток; им тоже достается по конфетке.

Утренний дождь омыл улички. Перед домиками утрамбованы площадки. За моей спиной слышен скрип дверей. В каждой щели можно поймать блеск пугливых, возбужденных, полных любопытства глаз, мгновенно исчезающих.

— Это девушки, — объясняет Гассан. — Они знают паша-дохтара.

Потом меня вводят в хану. Гассан суетится впереди. Это жилище Фардахана, отца Гаюнэ. У входа знакомый курд встречает меня поклоном, почти снисходительным. Из смо-

ляной бороды и усов сверкают замечательные зубы. Мы обмениваемся приветствиями.

— Приход гостя — приход счастья, — произносит он через Гассана.

— Мир этому крову, — отвечаю я, стараясь попасть в соответствующий стиль.

В доме — полумрак; пол устлан палассами, и на низких стенах развешаны грубоватой выделки ковры. В большой комнате мы усаживаемся на тугих подушках. Мне подают чашку дымящегося буйволиного молока и темную мучную лепешку. В молоке плавают соломинки и еще что-то неопределенное, лепешки густо посолены. Сквозь отверстие в стене, под потолком, льется немощный свет. Хозяин сидит напротив, поджав под себя ноги. Мы беседуем.

— В селении много мужчин, — говорю я. — Разве вас не берут на войну?

Гассан тоже с нами. Хозяин поворачивает к нему голову, и мальчик переводит мои слова.

—У нас нет ни копей, ни оружия, — отвечает курд. — Когда эффенди Энвер-паши приказал всем подняться, мы не тронулись. Мы — мирные. Нас не надо преследовать.

— Курды побили здесь армян. Зачем вы это сделали?

Складка ложится на гладкий лоб Фардахана.

— Нет, мы не били армян. Их били курды из Ташкесяна, Мезрелера, очень сердитые курды. А когда явились русские, армяне из Шанфаня пришли на наши поля и потоптали посевы. Тропинки мы забросали камнями и уцелели. У нас теперь нет хлеба. Мы пострадали невинно.

Паласс, висящий на правой стене, отодвигается, и в темном четырехугольнике показываются закутанные женщины. Одна из них Гаюнэ; другая, очевидно, мать.

— А, Гаюнэ, — встречаю я свою прежнюю пациентку. — Как твое здоровье?

Женщины не садятся. Голос девушки звучит тихо и несмело. Фардахан произносит что-то короткое и повелительное. Обе фигуры отступают, паласс падает. Вероятно, нарушен этикет, но тон хозяина попрежнему спокоен и дружествен.

Я встаю и кланяюсь.

Визит окончен.

На кровлях стоят люди и смотрят мне в спину. Старик-ревматик, пригибаясь к земле, подставляет ветру бороду. Гассан провожает меня. Долина с рекой и Кизил-Чубуком придвигаются все ближе.

На полпути мы расстаемся.

— Спасибо, — треплю я мальчика по щеке. — Спасибо, Гассан.

Его рука касается лба, потом груди. Он кланяется, полусгибаясь. Прощание им выдержано по ритуалу Востока.

23

ПРОРЫВ

За последним поворотом дороги отряд из пяти вооруженных людей поднимается мне навстречу. Солдатские сапоги крепко стучат по земле. Высокий человек в шинели разбрасывает при ходьбе длинные руки.

— Михин, — говорю я. — Куда это вы?

Винтовки придают санитарам воинственный вид. От всех нас вытягиваются в сторону зубчатые тени. Вечер уже приближается. Михин побрит, и усы его, наконец, простираются в тщательном порядке. От него пахнет одеколоном и, кажется, спиртом.

— Вот, — показывает он на своих спутников, — за топливом идем. Может быть поблизости где-нибудь в селении и отыщем. Кстати, — деловито говорит он, — окажите услугу. Если я задержусь, передайте, пожалуйста, Василию Степановичу, что я, вероятно, заночую в деревне.

— А это зачем? — указываю я тоже на его охрану. — Раньше вы ездили один к чорту на кулички, а теперь целый взвод тянете.

Лицо его выражает некоторое смущение.

— То были армяне, а это курды. Разница существенная, уважаемый Лев Семенович, — с возвращающейся уверенностью замечает он. — Да и в конце концов я не обязан, кажется, давать отчет.

Санитары, пользуясь остановкой, сворачивают козьи ножки. Голубой дымок плывет кольцами.

— Сергей Сергеевич, — говорю я серьезно и медленно, отводя в сторону заведующего хозяйством и понижая голос.— Я сам только что из Салы-Вары и кой о чем осведомлен в смысле дров. Там этого товара нет и вам не продадут ни одной щепки, а неприятностей не оберетесь. Только насилием вы добьетесь цели. У меня завтра там дело, я снова попаду в селение и все буду знать. Одним словом — забудьте туда дорогу.

Губы его сжимаются, и уши краснеют. Цепочки светлых бровей взбираются на лоб.

— Я не понимаю вас, — говорит он. — Какие-то намеки. В чем дело?

В тоне его даже слышится негодование. Он готов оскорбиться.

— Как хотите, — говорю я холодно. — Я вас предупредил, а вы можете действовать по своему усмотрению. Не скрою, что у меня будет разговор с главным врачом, вот сейчас же, как только я вернусь.

— Чорт возьми, — кричит он приглушенно, — да в чем вы меня подозреваете? Хотите, я отпущу санитаров и пойду один? Чудак вы, что вам померещилось?

— Хорошо, — ловя его на слове, подхватываю я быстро. — Отправьте команду обратно, но сию же минуту, при мне.

Люди, идущие на такие затеи, по-моему, не очень храбры; без вооруженной силы вряд ли Михин полезет со своими делами к курдам, благоразумие его удержит.

Он сует руку в карман, сморкается в платок, затем вытирает лоб.

— Сергей Сергеевич, — говорю я примирительно, — я вас уважаю и не хочу, чтобы вы влипли в грязное дело. В случае чего, все откроется, уверяю вас. А чем тогда это для вас пахнет? И к тому же курды свирепый народ, если довести их до возмущения. Вы хоть о себе подумайте. Для чего вам это нужно?

Его воля мякнет, — это чувствуется.

— Вот что, ребята, — кричу я в сторону солдат, понимая,

что нужно спешить. — Идите-ка домой, обратно. Откладывается ваш наряд.

Михин дергается к ним.

— Бросьте, — стискиваю я его руку. — Если вы их позовете, я пойду с вами. Все равно у вас ничего не получится. Нет там дров, — громко произношу я. — Идите, ребята, назад!

Гул голосов долетает к нам. Кучка людей начинает шевелиться и затем двигается. Михин поднимает голову и выпрямляется. Его глаза готовы испепелить меня.

— Что за комедию вы ломаете? — срываясь, выпаливает он. — Вы не смеете так разговаривать со мной. Эй! — внезапно и дико кричит он. — Куда пошли, черти! Ворочайся!

Фигуры уходящих уменьшаются. Он делает шаг, чтобы бежать за ними.

— Ну-с, дудки, — сквозь зубы говорю я. — Я такой скандал закачу при них, что вам долго не очухаться. Вы очумели, что ли? Вы лезете на уголовщину!

Наступает молчание. Сдвинув брови, он тупо и долго смотрит себе под ноги в одну точку.

— Фу, чорт возьми! Действительно, какая-то мелодрама. Давайте-ка закурим, — говорю я и смеюсь: — Разыгрались деточки. Чего мы, в самом деле? Ну, где ваша рука, помиримся.

Его взгляд недоверчиво ощупывает меня.

— Чего это вам почудилось? — ворчит он наконец. — Если вы уж так против моего посещения Салы-Вары, пожалуйста, сделайте милость, я вам доставлю это удовольствие. Извольте. Да и мне самому приятнее быть дома, чем таскаться чорт знает куда. Только теперь уж насчет топлива заботьтесь сами. . . Ах, сволочь!

Он с мрачной энергией бьет носком сапога валун. Камень летит как из пращи. Разрядив таким образом злость, он стихает. Уже темнеет, скалы придвигаются, дальние вершины становятся сизыми.

Мы спускаемся.

— Тинченко, — бормочет Михин, — тоже чудак вроде вас, не в себе.

По лощине за холмом бродит кривоногий человек. Что он

здесь ищет среди могил? Когда мы оказываемся рядом с ним, я окликаю его:

— Дмитрий Петрович, присоединяйтесь к нам, а то прозеваете ужин.

Тинченко приближается, черный, скуластый, некрасивый, с запавшими глазами.

— Вы что здесь делаете? — спрашиваю я.

— Ельцов мне вспомнился, наш фельдшер. Какой это был здоровяк. На тысячу лет казался вытесанным. Как он быстро сгорел! Сегодня от его жены в госпитале письмо получилось, спрашивает, почему не пишет, и поздравляет его от себя и детей с днем ангела. А я и могилу его насилу нашел.

— Ну, между нами, — говорит Михин, — во-время смерть убрала его от нас. Опасный был человек. В его пожитках после кончины оказался целый склад прокламаций, да каких еще! Повторить страшно, что там писалось. Фокин-то правду говорил, а мы не обратили внимания. Ведь он среди команды такие вещи распространял, что ему все равно не миновать было каторги. Настоящий бунтовщик! Такие вот молодцы и сбивают с толку ребят, вроде вчерашнего.

Последние слова относятся к молодому парню, задержанному вчера комендантом. Он оказался солдатом, самовольно покинувшим свою часть и пробиравшимся в Россию. Я видел его в тот момент, когда два конвоира заводили его в отдельную, перевитую колючей проволокой, юрту; он был в пыли, со сбитыми сапогами, с голодным лицом. Именно голод и вынудил его свернуть с окольной тропы и прибиться к этапному пункту, где он не смог предъявить нужных документов.

Фамилия его, Митрофанов, мне показалась знакомой; после некоторого усилия я вспомнил Булуджак, прапорщика с тиком, разговор о рыбной ловле и о погибшем солдате — любителе ухи. Рыболов неожиданно воскрес верстах в шестидесяти от Булуджака; теперь он сидит под арестом, как дезертир, заявив при допросе, что воевать ему надоело.

— Ничего не сделают Ельцовы, — говорю я, — если сами

солдаты не захотят разбегаться. А если солдаты захотят, то Ельцовых винить нечего.

— Надо знать, что такое тоска по дому, — замечает, блестя сухо глазами, Тинченко. — Можно пойти на какое угодно преступление.

— Солдат — дурак, — коротко заключает Михин. — Его надо в кулаке держать.

Главный врач, суетясь на дворе, отдает какие-то распоряжения.

— Господа, куда вы запропастились? — взволнованно и сердито кидается он к нам, когда мы появляемся. — Очень серьезное дело. Получен приказ. Весьма срочно.

«Неужели вперед, еще дальше в горы?» — думаю я. Тинченко смотрит на меня; скулы его сжаты. Очевидно те же мысли приходят и ему в голову.

Отец Цинцадзе шагает по комнате и пальцами вьет пряди бороды. Входит Милевский и присаживается на койку.

— Господа, — говорит главный врач, как только все собрались, и протягивает бумату, — фронт прорван. Вот ознакомьтесь.

Воцаряется оторопелое молчание. Затем Милевский берет телефонограмму и читает вслух:

На участке расположения дивизии значительные силы турок прорвали фронт 16 стрелкового 43 пластунского полков точка наши части находятся спешном отступлении точка неприятель безостановочно атакует точка приказываю немедленно подготовиться передвижению направлению башкей тире холтак точка начало эвакуации сообщу точка дивизионный врач димитриев 937

— Боже святый, — бормочет батюшка, — спаси и помилуй...

Михин тихонько свистит и чешет переносицу. Начинается обмен мнений, сумбурный и тревожный.

Еще никто не успевает разобраться должным образом в предстоящих перипетиях, как снаружи отдаленным ворчанием доносится грохот кованых колес, сразу стихающий возле дома.

Слышен перебор копыт на месте и лошадиное пофыркиванье.

— Эй! Есть здесь кто-нибудь? А ну, выходи! — кричат уверенно и нагло с улицы.

Мы переглядываемся, точно это трубный глас, предвещающий какую-то свежую опасность. Кажется, что топот и гром, внезапно возникающие в ночи, связаны с телефонограммой и что теперь могут быть только скверные новости.

— Кого надоть? — осторожно спрашивает кто-то за стеной. — Кого вам, землячки, требовается?

— Это не второй ли лазарет будет? — говорит прибывший.

— Он и есть, — отвечает ему тот же голос нашего длинного Савельева. — Второй дивизионный. Да вам кого, как говорится, надобно?

— А где начальство? — опять спрашивает первый. — Далеко отсюда?

— Да вы у яво стоите, не видите, что ль? — уже смело отвечает санитар. — Вот етта самая и есть.

Топот прыгающего человека звучно падает в тишину. Его сменяют короткая возня и невнятный разговор. — Тпрр! Не балуй! — кто-то кричит на лошадей.

— Етта и есть, — словоохотливо и весело говорит Савельев. — Вправо чуток держите, землячки, и взойдете прямиком к господам дохторам. Они тут обитают, как говорится, всем миром — семьей.

— Кого это принесло? — недоумевает главный врач. — Ночные дела!

Узкая игла фонаря проникает в щель ворота. Руки шарят по косяку входа.

— Можно войти? — спрашивает голос, приводящий нас всех в столбняк.

В дверях показывается молодая, лет двадцати, женщина. Черное платье облекает ее. Из-под круглой дорожной шапочки выбиваются пепельные пряди.

Она смотрит на нас большими серыми глазами вопросительно, строго и печально.

Солдат с двумя нашивками, рослый и откормленный, почтительно держится за ее спиной.

24

ПОРУЧИК ЕДЕТ ДОМОЙ

Мы стоим молча и пялимся на незнакомую, привлекательную женщину. Я ощущаю себя так, точно оказываюсь застигнутым на месте преступления. Мы все грязные, заросшие, нечистоплотные, нас касается веяние жизни, давно позабытой, отодвинувшейся в глубину пространств и времени. Эта женщина почти нереальна.

— Ради бога, простите за поздний час, но я так спешила, — говорит она и переводит взгляд на каждого из нас. — Могу я видеть главного врача?

Голос, слегка картавящий, звучит низко и выдает ее волнение.

— Чем могу служить, сударыня? — капнянув, выдвигается Василий Степанович. Его озабоченное и расстроенное лицо несколько смягчается. Глаза Михина раскрыты и неподвижны как у загипнотизированного. Женщина складывает на груди руки.

— Мой муж... — говорит она, и губы ее дрожат по-детски. — Он умер у вас... поручик Янчевский. Я приехала за телом.

Она шатается. С неожиданной ловкостью Милевский подхватывает ее и усаживает на табурет. Скудный свет лампы кладет черные полосы под ее ресницы.

Я приношу воду, отец Цинцадзе приближается и осеняет ее крестом. Только Михин как бы врос в пол.

Когда гостья успокаивается, главный врач рассказывает ей о ране мужа, безнадежной, смертельной, о стойкости, с которой он преодолевал боли, о последних его часах.

— Он почил с радостным смирением, как истинный верующий, — подтверждает батюшка и шевелит исполинским носом. Выпуклые, бараньи белки его скашиваются в печали.—

Он был достойный сын церкви и внидет в царствие небесное. Счастлива жена...

Денщики вносят самовар. Женщина слушает; глаза ее краснеют, пальцы мнут мокрый платок. Тогда вмешивается Милевский; его пугают слезы, готовые снова пролиться.

— Пуститься в такой путь, — ласково качает он головой. — Знаете, что это такое, мадам? Это победа ваша над самой собой. Как вам удалось добраться до нас?

— Генерал Юденич знает меня. Мне в штабе командующего дали бумаги и солдата, — отвечает она виновато. — И денщик мужа со мной.

— Но, сударыня, — говорит Василий Степанович, — вы попали к нам очень неудачно. Военные обстоятельства складываются тревожно, и мы получили приказ готовиться к отступлению. Уже сделаны все распоряжения. Я вам советую немедленно уезжать.

Она встряхивает головой, точно собирая силы. Михин, опустив на колени свои большие руки, сидит как истукан, не сводя с нее взгляда.

— У меня с собой цинковый гроб, — говорит она поспешно. — Я уеду тотчас. Вы меня простите, вам не до меня, но я постараюсь вас не очень беспокоить. Помогите мне только извлечь тело. Я хорошо заплачу вашим людям за труды.

Главный врач просит меня заняться всем этим, так как Михину надо распоряжаться уборкой имущества лазарета. Заведующий хозяйством бормочет, что собрать имущество — еще успеется, но Василий Степанович решительно обрывает его. Ко мне присоединяется Милевский. Мы наскоро едим и выходим с молодой женщиной.

Савельев и еще несколько человек из команды с лопатами на плечах уже отправились вперед.

Экспедиция тихо движется по дороге, потом сворачивает в поле. С разных сторон доносятся шум и возня; это в обозе и в помещениях идет укладка госпитального груза, проверка снаряжения, опись складов. Фыркают лошади, долетают голоса, неясные, глухие, в обрывках, как эхо. Низко над контуром гор протягивается неверная полоса отгоревшей зари.

Теперь, когда долина в безмолвии, проступает далекое бормотание реки. Холодно.

Мы огибаем холм и различаем смутное движение в кладбищенской лощине. Там зажигается огонек.

— Здесь, — кричит оттуда весело Савельев. — Сюда подходите.

Женщина поворачивает ко мне голову. Страх, очевидно, овладевает ею.

Тоненькая кисть цепляется за меня.

— Будьте мужественны, — говорю я. — Но лучше всего, не ходите с нами. Подождите здесь, пока все будет сделано.

— Нет, — качает она головой. — Не обращайте на меня внимания. Что значат мои слезы. Ах, если бы вы знали!

Голос ее вздрагивает и прерывается. И вдруг горячим, торопливым сбивчивым шопотом она начинает рассказывать:

— Мы с ним плохо жили. Я не любила его, а он носил меня на руках. Нас разделяло многое в характере, во взглядах. Он очень гордился своим дворянством, а я дочь учителя. Ничего, кроме собственного мирка, для него не существовало. Он и любил меня по-своему. Ну, как украшение своего герба, что ли... Благодаря связям он устроился в Петрограде адъютантом. Однажды у нас произошла очередная сцена. Началось, как всегда, с пустяка. На каком-то вечере я запросто пошучивала с одним юношей. Он был недоволен: это не подобало моему положению. Ах, эта вечная забота о достоинстве! Как она тогда была мне ненавистна! Я не сдержалась и упрекнула его в желании отсидеться от войны и в том, что дворянская гордость позволяет ему предпочитать родине семейное свое гнездышко. Еще многое было сказано... Он ничего не ответил, но я помню его взгляд и изменившееся вдруг лицо. На другой же день он подал прошение о переводе на фронт. На самый тяжелый и далекий фронт. Он сделал это затем, чтобы, как он думал, не потерять моей любви. Его письма были полны нежности и описаний тех страшных условий, в которых он жил и которые он переносил только для того, чтобы я не могла ни в чем его укорить. Ах, эти письма! Надо было знать его самого, чтобы понять, как ему тяжело было, если он нашел для себя такие слова. Мало того, что

происходило с ним внутри, в душе, и окружающее его удручало. Трудно было с солдатами, которые не хотели его слушать, грубили, грабили. Этими жалобами он делился со мной. А я тогда уже мыслями и душой была с другим. Тот, другой, однажды стал мне близок. И вот, почти в тот же вечер, пришло письмо из вашего госпиталя. Все во мне перевернулось. О, это совпадение было не случайно! Это я убила его! Я поняла многое... Мне открылось его бесстрашие, его самоотречение, героизм, чудесная душа его, отказавшаяся от всего дурного, что было в нем.

Она беззвучно плачет. Все это выливается, как исповедь где-нибудь в поезде случайному соседу по вагону. Мне хочется ей сказать, что поручика застрелили за жестокость, но что-то удерживает меня. «Зачем? — мысленно спрашиваю. — Не все ли равно, какого она мнения обо всем этом?»

Уже слышны удары лопат; земля ворчит; комья шуршат и сыплются. Мы стягиваемся вокруг могилы. Фонарь вырывает из ночи траву, углубления, части ног. Копающие обмениваются указаниями и взаимными советами. И вот, сопровождаемый уханьем и командой, гроб появляется над ямой.

— Открывать прикажете? — спрашивает Савельев; голос его смешлив, как всегда.

— Не стоит, — отвечает Милевский, громко дохнув. Он еще не овладел одышкой. — Лучше так класть.

— О, нет, пожалуйста, — говорит моя спутница. — Я прошу.

Савельев наклоняется над черным, с приставшей землей, ящиком. Железным скрипом воют гвозди, потом — удар лопаты по доскам, и наступает тишина.

— Готово, — сообщает Савельев, — лучше, как говорится, и не надобно.

Свет, разламываясь на ребрах ящика, ложится рыжей полосой на мертвеца. У него обглоданное безносое лицо, от повязки остались почерневшие обрывки. Пальцы сохранили еще остатки кожи, и выросшие ногти загнулись. Золото мерцает в смеющемся рту. Рука женщины до боли сжимает мою ладонь.

Мы ждем, пока подвезут цинковый гроб. Савельев садится

на бугорок и закуривает. Фонарь, опущенный на землю, открывает вокруг себя лунный ландшафт кочек.

Тоненький силуэт женщины исчезает в темноте. Через несколько шагов я нахожу ее. Она лежит ничком на траве и плачет.

Из поля наезжает на нас молоканская крепкая подвода с крытым верхом. Два солдата соскакивают с нее. Кто-то топает во мраке. Большая фигура Михина обрисовывается возле меня.

— Ну, что? — спрашивает он и обводит вокруг ищущими и острыми глазами.

— Вот, — показываю я на яму.

Пока гроб забивают досками и кладут в длинный металлический ящик, снятый с фургона, неслышно подходит молодая женщина. Рот ее сжат. На локтях, коленях, на черной одежде сереют следы земли.

Мы следуем безмолвной процессией за тенью, шумно катящейся впереди нас и гулко стучащей железом на неровностях поля. Запах тления преследует меня. Я оставляю женщину, Милевского, Михина, немного отстаю и лезу за папиросой. Сзади меня идут гурьбой наши санитары и тихо беседуют.

— Волынка теперь у ей, как говорится, долгая, — говорит Савельев. — Любовь, — после короткой паузы добавляет он и неожиданно смеется.

— Солдат живой пропадаит — нычего, — отзывается Аракел. — А началства мертвый — все началства. Вай, сколка дэнги стоит. Солдат спыет зэмла, и мама нэ знаит, тдэ што чэго. Куды найти, каму искат? Ему сама и нэ пайдот, нэ можит, врэмя нэту хадит, галадаит сама.

— Верно, господам, хоть и упокойникам, завсегда лучшая жизнь.

— Надобно к праху уважение иметь, — вмешивается еще кто-то, и я узнаю Фокина, батюшкиного прислужника. — Чего разуспорились, аники-воины? Дозвольте, ваше благородие, огонька, — натоняя, заискивающе обращается он ко мне.

Вскоре я снова оказываюсь возле женщины, остальные

теряются впереди. Мне не по себе. Признание женщины мучает меня, и это внутреннее беспокойство становится непреодолимым. Она спотыкается о ямку; моя рука поддерживает ее.

— Неправда все это, — внезапно произношу я. — Вы думаете, он умер в бою, как герой? Нет. Его убили свои же, солдаты, русские солдаты. Вы знаете, что это значит? Это значит, что им было уже невмоготу. Вот что я должен вам сказать.

Мне не видно ее лицо, но я чувствую, как она отшатывается. Я жду чего-то страшного, крика, может быть взрыва негодования. Но ничего этого нет. Так в молчании проходит много минут. Мы продолжаем двигаться.

Вдруг ее черная фигура останавливается.

— Поклянитесь, — говорит она, глядя на меня в упор, почти притиснувшись глазами к моим глазам. — Поклянитесь вашей матерью.

Я потрясен ее голосом, так он ровен и сдержан.

— Мать моя умерла давно, — отвечаю я. — Но то, что я сказал, правда до последнего слова.

Мы опять идем. Она спотыкается все чаще, непонятно, спешит ли она догнать фургон или хочет уйти от меня. Ни одного звука не вылетает из ее рта. Вскоре мы все оказываемся вместе. Но в ту секунду, когда грохот колес приближается, она поворачивается ко мне.

— Он святой! — вырывается у нее придушенным шопотом. — Да, да, святой!

Она тотчас умолкает, так как подходят остальные. Мне кажется, что я угадываю потревоженную психику этой женщины, изобревшей себе путь в Каноссу и теперь страстно цепляющейся за его оправдание, — и тоже ничего не говорю. Прощанье происходит у порога нашего общежития.

— Где же вы остановились на ночь? — спрашивает деревянным звуком Михин. — Можно вам комнату при канцелярии предоставить.

Автоматическое спокойствие отражается в ее отказе:

— Нет, пожалуйста, не беспокойтесь, я сплю в фургоне. У меня есть теплое одеяло.

И с тем же равнодушием она добавляет:

— Я уже привыкла так, а в помещениях душно и тесно.

— Но в фургоне вам неудобно, гроб . . . —бормочет Михин уже вслед ей.

Перед тем как лечь, я выхожу на улицу. Развалины селения вытягивают свои очертания в темной слюде ночи. Звездная россыпь неба прорвана черными полями невидимых облаков, и космическим шорохом гудит Кара-Су. У переулка, за разбитой стеной, где устроилась приезжая, хрустят овсом чужие лошади.

Шаги внезапно достигают моего слуха, и из-за угла выходит Михин. Лицо его бессонно и стянуто складками. Заложив руки в карманы, огромный и смутный, он медленно, как лунатик, движется мимо и, точно не заметив меня, уходит дальше, не задерживаясь.

Утром уже нет ни женщины, ни фургона. Они на рассвете покинули Кизил-Чубук.

25

ГААГСКАЯ И ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Часов в одиннадцать несколько санитарных двуколок проезжают селение, не останавливаясь. На них трясутся раненые. Главный врач выскакивает из канцелярии на шум, смотрит вслед клубам пыли, потом, сообразив что-то, машет рукой и кричит:

— Эй, погодите! . . Какой части? . .

Полотнянные верхи линеек цыганским табором колышатся еще некоторое время над дорожным облаком и исчезают за зеленовато-желтыми поворотами дороги.

— Не сдают больных, торопятся, — пожимает он плечами. — Странно.

Немного спустя мычанье и блеянье оглашают шоссе. Солдаты, запыленные, усталые, гонят разрозненные стада коров и овец. За ними вскоре показывается нестройный отряд саперов с короткими винтовками и лопатами. Еще раз выкатываются санитарные тележки с грузом бледных людей.

Главный врач, до сих пор не получающий никакого распоряжения, бежит к коменданту.

С тюфяка подымается Калюжный Иван, худой человек с утиным носом, крошечными глазами и жилистой шеей. Правая рука его крепко прибинтована к груди. Он топочет разнозвучно одним валенком и одним сапогом.

— Народ в сумлении, ваше благородие, — говорит он мне прокуренной сипотой. — В беспокойстве народ. Беды бы какой с народом не приключилось.

Веки его мигают.

Брови, светлые, скудные, точно облезшие, подняты высоко над глазами.

— Какая беда? — отмахиваюсь я беззаботно. — Никакой беды нет. А в случае чего, вас всех задолго до беды увезем подальше. Лежите спокойно.

Через час шоссе живет шумливой, взбаламученной жизнью, точно прорвалась где-то запруда.

Путаясь, мешаясь, тянутся воинские части. Длинные цепи подвод рассекают людской поток.

Крики и ругань полыхают, как пожар.

Гремят железом орудия, обсыпанные гроздьями толстомордых артиллеристов.

Кизил-Чубук тонет в гуле.

Наконец, неистово вереща, проползают кухни со своими трубами, торчащими из котлов, как перископы.

От коменданта, ныряя среди возов и людей, бежит человек с узкой донкихотовской бородкой. У него обиженный и растерянный, точно заплаканный вид. Он вкатывается в наше здание, затем оттуда выносится Левон, денщик главного врача, и мчится к палаткам и ханам. Вскоре он появляется и передо мной.

— Зовут их высокоблагородие. Просют — одна секунда.

В нашей комнате уже собрались врачи, хозяйственная часть и канцелярия.

— Господа, немедленный отъезд,—говорит главный врач.— Я должен предупредить вас о самом худшем. Мы не успеем вывезти раненых и больных. У нас нет времени. Все имущество бросается. Вот приказ.

Он сует нам клочок синеватой, как телефонный бланк, бумаги. Затем, никому не отдав его, читает сам:

В виду стремительного отхода наших частей невозможности задержать наступающего неприятеля тыловые учреждения дивизии попадают непосредственно под удар точка приказываю дивизионному лазарету батрасе перевязочному отряду чавраке эвакуироваться на 40 верст селениям лошхаз бимитрук точка дивизионному лазарету кизил чубуке немедленно отходить башкею далее холтаку точка громоздкое имущество бросить вывезти кассу документы если можно личный багаж что однако не должно задерживать отхода точка дивизионный врач димитриев 971

Проходит минута, все молчат, только шумно дышит отец Цинцадзе, и суматошливая жизнь шоссе летит к нам яснее и тревожней.

— Однако терять времени нечего. Сергей Сергеевич, — обращается главный врач к Михину, — сейчас же готовьте подводы. — Губы его кривятся. — Хоть бы аптеку вывезти. Господа, укладывайтесь. Мы выезжаем.

Сквозь путаницу мыслей, овладевающих мной, встает длинный, как жердь, Иван Калюжный.

— А раненые и больные? — спрашивает Милевский, точно угадав, о чем я думаю. — Что это такое? Разве это тоже громоздкое имущество? Почему их нужно оставить туркам?

— Туркам? — зло переспрашивает голос. — Если бы хоть туркам. Вы забыли о курдах, Наум Абрамович.

Это говорит Тинченко. На его скулах расползается зловещий румянец. Главный врач морщится и садится на койку. Отец Цинцадзе шуршит, как мышь, чемоданом по земляному полу.

Курды! Мы слышали от солдат об этой иррегулярной ту-

рецкой коннице. На своих низкорослых лошадях она идет, как волчья стая, впереди наступающих войск, воодушевленная жаждой убийства и грабежа и ненавистью к неверным. Говорят, что сами турки боятся ее. Эти части не знают никаких законов войны.

— Раненые . . . — бормочет главный врач. — Это предусмотрено. Я снеся с дивизионым врачом. Их не вывезти. Дорога к Башкею забита. Они остаются под защитой Гаагской и Женевской конвенций. Но, господа, — с трудом глотая слюну, добавляет он, — с ними должен остаться и один врач.

В наступающем безмолвии гул движения за стеной катится неослабевающим прибоем. Внезапно дыхание катастрофы обвевает каждого из нас.

— Так вот, господа, — поспешно говорит главный врач, и взгляд его бегает по сторонам. — И врач и раненые остаются под защитой Гаагской и Женевской конвенций. Время не терпит. Давайте покончим с этим вопросом. Да-с. Это тяжелая, но неизбежная необходимость.

Он сует руки в карманы и снова их вынимает, будто не зная, что с ними делать.

— Жребий бросать, — предлагает сдержанно Милевский и вздыхает. Живот у него выпирает, френч застегнут криво, жесткий ворот нелепо оттопыривается, но никто этого не замечает.

Главный врач решительно проводит ребром ладони по усам.

— Нет, господа, — возражает он твердо. — Я уже обдумал. Жребий применяется при прочих равных условиях. У нас этих условий нет. Лев Семенович одинокий, холостой, без семьи, он самый молодой и здоровый. Военное уложение предоставляет мне право назначения. Господа, я полагаю, что простая справедливость подсказывает выбор.

Я смотрю на дыру в стене, на наше окно, через которое желтый день проникает в комнату. Мне вдруг становится страшно увидеть чье-либо лицо.

Все молчат.

— Впрочем, — недовольно добавляет после долгой паузы главный врач, — если, господа, вы настаиваете, на жребии . . .

Да не молчите же, говорите! Как ваше мнение, Наум Абрамович?

Мне в сущности все ясно. Я представляю себе Тинченко, с его тоской, с его диким мученичеством любви, доктора Милевского, у которого скрипит сердце с развинченными клапанами и семья из шести человек. Главный врач сбрасывается со счета как ответственное начальство. Нет, это не героизм, не пафос, не вспышка — это логика, ломающая даже трусость. Но ноги мои обмякают.

— Конечно, Василий Степанович прав, — говорю я каким-то противным, фальшивым голосом. — Жребий ни к чему. Я остаюсь.

В это время врывается Михин. Он проходит сквозь нас, как смерч. Его помощник, молчаливый, тихий, со своим восковым, ничего не выражающим лицом, вносит за ним несколько кип папок.

— Приказы, — громко произносит Михин и бережно опускает на стол перед главным врачом всю эту пачку. — Семь тетрадей, — деловито перебирают он их. — Укладывают аптеку, а потом кассу. Через час все готово.

И он исчезает, как вихрь. В освободившееся между нами пространство протискивается Милевский. Щеки его, в толстых складках, бледны.

— Я протестую, — тихо говорит он. — Господа, что это такое? Это игра в благородство. Но дело слишком серьезно для игры. Мы все врачи, и это нас делает одинаковыми. А на что идет Лев Семенович? Это мы все хорошо знаем. Почему он должен отвечать за всех? Почему? Он молод? Значит, ему еще надо жить. Он холост? Значит, ему еще надо узнать счастье. У меня, например, большая семья. Но почему об этом нужно заботиться Льву Семеновичу? Пусть об этом заботится правительство. Одним словом, я протестую. Я за жребий.

Против воли я слушаю его с жадностью. О, конечно, жить, жить, жить!

Но каким-то углом сознания я уже понимаю, что все решено и другого выхода нет и что не помогут слова моих товарищей. Теперь просто нужно взять себя в руки.

Я отодвигаю плечи доктора Милевского. Сердце мое бьется от волнения, в котором одновременно жалость к себе, страх, упрямство, ощущение полета в пропасть.

— Бросьте споры, — говорю я. — Позвольте мне, наконец, самому распоряжаться моим счастьем. Я остаюсь, и больше не о чем говорить.

Милевский хочет что-то сказать, но глотает несколько раз воздух, ресницы его красных, со склеротическими жилками, век становятся мокрыми, пухлый живот вздрагивает, и он ничего не говорит. Черными кругами обведены глаза Тинченко.

— Господа, — произносит главный врач и встает, — мы и так потеряли много времени. Лев Семенович понимает, что нам нелегко дается все это.

— Эй, ребята, подъезжай в ряд, — кричит на улице Михин.

— Не так страшен черт, как его малюют, — говорю я, бледно улыбаясь. — Турки тоже люди.

— Вот, вот, верно, — подхватывает, как будто обрадовавшись, главный врач. — Вы, кстати, все равно не признаете разницы между своими и врагом.

Это, кажется, только шутка и желание немного рассеять наше мрачное уныние, но в то же время в его голосе есть что-то насмешливое, ироническое и чуть издевательское. Во мне вспыхивает злость. Я сдерживаюсь и спокойно говорю:

— Вы совершенно правы, Василий Степанович. Тот враг, о котором вы думаете, мне не враг.

Батюшка встает с пола и волочит за собой веревки. На рясе у него остаются пятна пыли.

— Бог вас нэ покинет, — говорит он и подходит ко мне. Кажется, он даже готовится осенить меня крестным знамением. — Бэз бога нэ эдиный волос...

Мягкий живот тыкается в мой бок, щетина щекочет шею, и у уха слышно сопение. Милевский обнимает меня.

26

КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО

С гор тянет в долину сумерками и свежестью. Лиловатая влага вечера льется из ущелья. Река сверкает последними

отблесками неба. Темнеет, и день укладывается на покой. Это тот час, когда гессенские палатки среди расплывающихся очертаний развалин кажутся необычайной чистоты, когда начинается жизнь шорохов и тишины.

Голые коричневые стены с более светлыми полосами от долго здесь стоявших кроватей, сундуков, ящиков, вся эта пустота, эти газеты, брошенные по углам, какие-то обрывки материй, куски оброненных веревок, забытая открытка, приколотая под оконным отверстием, глиняная печь, наконец-то поставленная, но не топленая, зияющая черной дырой, — говорят языком одиночества.

Прошло больше двух часов с тех пор, как скрылась последняя подвода лазарета; еще раз прогромыхали орудия; за ними показался небольшой отряд пехоты. Казачья сотня, растянувшись на версту, проскакала по шоссе. На кудреватых клоках, выбившихся из-под красноватых фуражек, осела серая пудра.

Пронесся рысью разъезд с значком на древке. От концов пик летели блистающие солнечные стрелы.

Я выходил, становился у дороги и клянчил:

— Земляки, возьмите кого из раненых полегче.

Солдаты с удивлением смотрели на меня, на мои погоны, что-то бормотали и торопились дальше. С сидения одной орудийной запряжки светловолосый ефрейтор ткнул рукой вперед на горы и ответил:

— Куда ж его брать? Нипочем через эти хребетины не перемахнуть. Узять — возьмешь, а потом складать придется, куда попало. Ходячий он, што ли?

Ходячих у нас не было. Те, кто мог хоть сколько-нибудь двигаться самостоятельно, давно увезены или тронулись сами, увлеченные потоком отступления.

Офицер, скакавший впереди разъезда, остановился:

— Чего вы сидите, как на свадьбе? Сматывайте удочки. За нами никого уж нет.

Узнав, в чем дело, он покачал сочувственно головой.

Весь отряд, человек в тридцать, затоптался на месте.

— Угостите покурить, доктор, — наклонился с седла ко мне офицер. — Вот беда, сумку с табаком потерял.

Я угостил его, объяснив попутно свое положение. Он покрутил головой.

— А где турки? — спросил я.

Офицер с наслаждением затягивался. Его взгляд оживился. Солдаты, сдерживая коней, переговаривались за его спиной.

— Они в обхват идут, — сказал он, повеселевшими глазами глядя на меня. — Теперь главная сила их прет на Чир, а другие на Бардаяк. Нам надо убираться, чтобы не быть отрезанными. Эй, молодцы, — отлянулся он на сбившихся кавалеристов и тронул повод. Серая в яблоках кобыла загарцевала. — Пошли!

С четкими звуками, такими, точно утаптывали землю, разъезд поскакал дальше.

Теперь дорога безмолвна и не пылит. Наше общежитие, нахохлившись, мрачно сторожит шоссе. Никто больше не движется. На долину наползает предвечерний туман.

Нет и неприятеля.

Признаться, это меня несколько разочаровывает. Я представлял себе бой наступающих с отступающими, голубые дымы выстрелов, крики, пение пуль, пулеметную музыку, мечущихся солдат с потными лицами, — одним словом, атаку селения. Это было бы естественно. Оказывается, ничего такого не произойдет. Мы разложены, как товар на полке. И ждем, пока придут турки и хладнокровно подберут добычу.

«Добычу, — думаю я. — Хороша добыча. Вряд ли она понравится победителям, эта сотня искалеченных людей. Разве только материал курдам для упражнений». При мысли о курдах меня схватывает за лопатки холодок. Я перестаю сразу же верить этому спокойствию и невольно поглядываю на свою повязку с красным крестом через руку, потом — на белую полупростыню с яркими, как кровь, полосами, вздернутую над палаткой.

Темнеет. На еще светлое небо выкатывается луна.

Можно подумать, что в палатке никого нет, — ни одного звука не слышно оттуда. Лежащие притаились под своими шинелями и одеялами.

При моем входе кто-то кашляет, в углу раздается кряхтение, вперебивку стонут два голоса. Место Калюжного, как и ряд других мест, пусто. В сумеречной неясности шатра только турки на полу сдвинуты сплошной группой. Они неподвижны, будто хотят остаться незамеченными, и даже мулла, последние дни беспокойный, притих со своей выпирающей из-под тряпья забинтованной культей плеча.

— Ну, как, ребята? — говорю я громко. — Не спите еще?

Недалеко от меня по сплющенной блином вещевой подушке ерзает папаха. Пластун-кубанец Чубриков, с раздробленной лодыжкой и простреленной грудью, глухо, точно через силу, бормочет:

— Томимся... Эх, хоть бы конец какой. Вот маята... Побросали нас.

Я присаживаюсь на краешек носилок, стоящих среди палаты.

Запах немытых тел становится ощутительнее.

— Чего вы, Чубриков, каркаете, — урезониваю я. — Вас не тронут, вы уже не вояки. Плен — конечно, тоже удовольствие среднее. Да что же делать — война.

— До плена еще дожить надо, — отвечает вместо кубанца Головиков, молодой стрелок с малярийным лицом и косящими черными зрачками в желтушечных белках. У него перебит сустав колена. — Эх, война. Этой бы войной да по зубам хватить кого надо.

— Кого это «кого надо?» — спрашиваю я.

Он приподнимает голову, остриженную, с просвечивающей кожей, и рот его ощеривается.

— Всю сволочь царскую, — говорит он с такой ненавистью, что соседи поворачиваются к нему. — И тех, кто с ними, командиров наших.

За несколько часов, отделивших нас от родины, незримой, но роковой гранью, эти речи в той или иной форме уже звучали не раз под палаточным пологом. Солдатское озлобление, придавленное и задушенное муштрой, обнажается с еще сдержанной яростью. Меня они совсем не стесняются теперь; я им не страшен, если бы даже вздумал негодовать. Я такой же испуганный человек, как и они.

Этого от них не скроют все мои усилия казаться спокойным.

— Ишь, выискался умник! Небось, когда с винтовочкой жил, храбрость-то твоя где была? «Никак нет», «так точно», «слушаюсь». Храбрость-то свою в подсумок спрятал, а теперь пужаешь. Очень они тебя боятся. Ты здесь издыхаешь, а они себе крестов на титьки понакладают. Ты бы раньше пужал.

Это говорит гундосливо солдат с ампутированной ногой и ранением лица; пуля прошла у него через ноздри, и теперь рубец, стянувший и сгрызший кусок носа, придает ему клейменный вид.

— Брось языком заковыривать, — отвечает Еловиков, выкатывая глаза. — Меня учить уму-разуму нечего, я заводской. Будь наша воля, давно бы по-иному было. Из-за вас, деревенщины, ни чорта не выходит.

— Это ты брешешь, паря, — сердито ворчит гундосливый. — Мы у пятом годе бунты бунтовали, красного петуха пущали. Почище городских орудовали, а только чего теперь зря болтать. Свово сделать ко времени не сумели, а ныне оно и оборачивается.

— Темная Рассея, — отзывается кто-то. — Пропащая.

— Темная . . . — передразнивает с язвительной свирепостью стрелок. — Темная . . . Вот война ее, перебитую, голую, босую, окаянную, может, и научит.

Солдат с продырявленным носом оказывается упрямым спорщиком.

— Это смотря как война прикинется, — снова возражает он. — Ты вот ругаешься, а тут понимать надо. Ежели с песнями да барабанами, то нипочем этакая война не научит нашего брата. Урядника в таком разе сроду не перешибешь. Вот когда наложат нам по загривку, так что еле домой доползем и солому жрать будем, ну, тогда да. Тогда всем миром на негодную власть народ поднимется. Вот какая война нам надобна.

— О, господи! — вздыхает кто-то за моей спиной водянистым булькающим звуком. — Тут минута решается, а они споры спорют. Что за народ, господи!

В глубине палатки происходит какое-то движение. Голоса

сразу стихают: зашевелились турки. К тому, что делают пленные, у солдат острое, напряженное, пронзительное внимание. До самого последнего дня многие русские злобно косились на своих бывших врагов, особенно по мере ухудшения снабжения.

Теперь роли меняются. У недавних победителей, превращающихся в побежденных, возникают сложные чувства тревоги и покаяния.

Я встаю и приближаюсь к шуршащему сумраку, окутывающему турок. Кривоплечий аскер с детским, мальчишеским лицом что-то бормочет. Мулла, раскачиваясь с боку на бок, приподнимается. Узкий, как сабля, костистый нос его окаймлен следами грязи, и воспаленные глаза слезятся. Он вытягивает к потолку уцелевшую высохшую руку.

— Безиринде Алла бир Алла бююк ве рахинбир, — говорит он дребезжащим голосом, с придыханиями, и кивает мне растеребившейся чалмой.

— Бююк ве рахинбир, — повторяет аскер, смотря на меня, потом вверх, потом снова на меня. Черты его затушеваны темнотой.

Я угадываю смысл слов: бог один над нами, бог велик и милосерд.

— Ох, господи! . . — сдавленно вскрикивает кто-то сзади меня. — Ваше благородие, гляньте.

Сердце мое ёкает, точно срывается, перед глазами вертятся полосы сумрака. В четырехугольнике входа слабо обозначается далекое шоссе, озаренное пепельным светом, разодранные контуры строений, насупившийся дом у дороги. Я напрягаю зрение. Тоненькая цепь серыми тенями крадется вдоль стен. Она охватывает нас дугой.

Можно даже различить лунные отблески на ружьях.

27

КАПИТУЛЯЦИЯ

Мгновенно я наполняюсь страхом, диким, животным, непреодолимым. Кинуться в улички, промчаться через селение и бежать в горы, в Башкей, — вот что овладевает мной с су-

Масшедшей силой. Или нет, это уже поздно. Надо скрыться в какой-нибудь хане и переждать хотя бы ночь. И это не то. Зарыться сию же минуту под тюфяк, под лохмотья, притаиться, не дышать, обхватить голову руками натлухо, замереть. Вся молниеносная логика паники просверливает мозг. Тотчас однако становится понятным, что это ни к чему, нелепо и позорно, надо заставить себя делать другое. Прежде всего следует показать, что мы сдаемся, уже сдались. Этот час темноты превращает наш белый флат с крестом из сигнала сдачи в бесполезную тряпку.

После нескольких мучительно трудных шагов я останавливаюсь. Тени у дома тоже останавливаются, потом растянутая линия их начинает сворачиваться в клубок. Очевидно происходит совещание. Лиловатый сумрак, льющийся на шоссе, на горы, на мир, густеет у стены; невозможно разобрать, что там делается.

Я приближаюсь еще на некоторое расстояние и застываю на месте. От клубка отрывается черное пятно с человеческим контуром. Я поднимаю кверху руки.

Человек придвигается ко мне, рост его как-то пропадает; ружье его касается земли. Он кричит мне.

— Гассан! — отвечаю я. — Гассан, это ты?

Он вприпрыжку бежит ко мне. В руке его не ружье, а палка.

— О, паша-дохтар, — говорит он, и зубы его светятся от улыбки, как алебастр. — Паша-дохтар . . .

Отчаянная радость переполняет меня. Мне хочется скакать, обнимать Гассана, целовать, пожалуй, даже хохотать. Перед ним, перед этим мальчиком, я вытягивал руки к небу, объявлял себя сдавшимся!

Он тащит меня за рукав и по пути рассказывает, что люди Салы-Вары спустились в долину за одеждой и продуктами из брошенного лагеря и что они не подозревали об оставшемся паше-дохтаре. Мальчик выражает еще больше удивления, когда узнает, что я не один и в палатке и в ханах много больных и раненых.

— Иди за мной, — говорит он мне, — я их только предупрежу.

Гассан убегает.

— Селям-аллейкум, — произношу я возле кучки темных фигур.

Тоненький, слегка ломающийся голосок Гассана забивается шумом и выкриками взрослых. Идет какой-то спор, опадающий при моем появлении. Два-три человека отвечают мне. В наступившей тишине кто-то из стоящих начинает бормотать гневными звуками. Его перебивает Гассан, и сразу в этот дуэт сыплются, как горох, возгласы других.

Глаза мои привыкают к темноте. Вот стоит прямой, как трость, Фардахан, отец Гаюнэ; борода его черна, и лицо желтоватое и сухое, словно из биллиардной кости. Я вижу Ахмаллу и еще кой-кого, чьи имена мне неизвестны. Обилие знакомых успокаивает меня, хотя этот спор почему-то не нравится. Гортанная сдержанная речь Фардахана властвует сейчас одна. Гассан толкает меня в руку. Большие зрачки его фосфорически, по-кошачьи, остро сверкают, смуглая кожа потемнела от возбуждения.

— Курдай хочет резать русских, — шепчет он мне. — Курдай, дядя Зюлеи, брат отца моего Ниязи. Русский солдат убил Ниязи, теперь Курдай хочет резать солдат. Паша-дохтар не надо бояться, наши не хотят резать. Они кричат на Курдая. Они заберут хлеб и одежду, пока еще не пришли аскеры. Аскер не очень хорошо. Наш солдат тоже плохой солдат.

Он жмется к моей руке, как будто желая окончательно убедить меня в верности своих слов.

Как только смолкает Фардахан, начинаю говорить я. Сообщение Гассана будит во мне тревогу. Незнание языка пугает меня, я волнуюсь, я злюсь, как на живого врага, на свои спотыкающиеся слова. Дискант Гассана вторит мне. Он переводит мою речь и дополняет, очевидно, своими комментариями. Я говорю, что больных трогать нельзя, это противно закону Магомета, что мы тоже лечили и заботились о больных турках. Я — хозяин лазарета. Все продукты и материалы я охотно отдаю им. Сейчас ночь, надо переждать, а рано утром я сам покажу им, где что сложено, где мука, где сухари, где соль, где ткани, где крупы, где масло, где сахар и

чай, где солонина. Они могут вывезти запасы до последней крупинки, до последней нитки, до последнего мешка в полном порядке. А больных тратать не следует.

Мои слова вызывают оживленный гул реплик между слушателями. Сердитое ворчание Курдая подавляется более мягкими голосами. Я понимаю, что победа остается за благожелателями. Гассан подтверждает это.

Голова моя мокрая, как после тяжелой работы. «Чорт возьми, — думаю я, — если такова встреча с друзьями, что же будет при встрече с врагами?»

Мое возвращение в палатку несколько успокаивает больных, я захожу в хану, где лежат тифозные, в другую — с дизентериками. Многие просят пить; хлеб всем выдан на руки еще с утра.

Курды располагаются кружком на земле за шатром. Закутавшись в шинель, я устраиваюсь возле большого камня недалеко от них; близ меня свернулся Гассан. Мы все ждем рассвета. Эта ночь, страшная, неизвестная, эти черные фигуры, будто стерегущие меня, и то, что я событиями прикован к этому месту прочнее, чем сталью, говорят о наступившей неотвратимой минуте. На мою судьбу падает уже тяжесть выполняемого человеческого долга.

Я думаю о войне, которая собирается опалить меня своим огненным дыханием. Потребность какого-то итога, как перед часом казни, рождается во мне с огромной силой. Проходит прошлое, близкие мои, оставленные далеко в родном городе, не подозревающие о приготовленной мне участи, лица, встречавшиеся на моем жизненном пути, друзья, товарищи, отрывки событий, встреч, бесед мелькают в памяти. Что меня ждет? Неужели конец от руки курдов? Представлял ли я себе, шагая на лекции по военно-полевой хирургии, чем завершится мое участие в войне? Встает белый, в садах, Киев. Торопливо пробегают скомканные годы студенчества. Вспоминается Столыпин с черными, как смоль, бородой и усами профиль царя с отвисающим и набрякшим веком, ожидание погрома, запуганный, остолбенелый Бейлис; сверкнул задумавшийся над Россией военно-полевых судов и гонений суровый облик Короленко, затем пронеслись Верхне-Дне-

провск, Кобрино, манифестация, городовые, генерал с кошачьим глазом медали, Яниш Годраш, самодовольный Оконовицкий с его речами о Босфоре, грязное, потонувшее в нищете местечко, графиня Браницкая. Неужели солдаты и я отдаем свою жизнь для того, чтобы все это, именно это, существовало, усиливалось, процветало? Глябин, где он? Что он сказал бы сейчас о моем положении? «Рынки, капитализм — вот за что тебе все это дано, — сказал бы он. — Если ты умрешь, твоя смерть, как и твоя жизнь, будет полезна купцам, добивающимся роста прибылей по закону капиталистического строя. Ты сидишь здесь в ожидании расправы, эти русские мужички продырявлены, эти курды-крестьяне разграблены, и все это ради наших заводчиков и фабрикантов, ради английских коммерсантов, которые готовятся оторвать у немцев куски в Африке, или ради германских акционеров, вложивших свои капиталы в предприятия Конго, Египта, Сирии».

Акционеры, фабриканты, заводчики... И тут вдруг я вижу рожь, бегущую под ветром, степную таратайку и Самошу на козлах. «Мой отец имеет кожевенный завод, он будет богатеть на подрядах» — говорит мне Самоша, а когда Аракел пришел на побывку домой, он нашел своего хозяина, владельца магазина, тоже разбогатевшим, обладателем двух домов. «Воюй, Аракел, хорошо воюй». Вот кому нравится война. Вот кому она выгодна и интересна.

Но я здесь при чем? Какое мне дело до их интересов?

«Да, дела никакого, — отвечаю я себе. — Но ведь тебя и не спрашивают, тебя заставляют. Попробуй сопротивляться. Откажись. Что от тебя останется?»

И оскорбительное, уже много раз знакомое чувство беспомощности заполняет меня до кончиков пальцев. Что значу я один или десятки таких же единиц? Единицы — вот в чем гвоздь. Это ведь участь единиц — бессилие. Я откажусь, а власть обрушится на меня всем своим аппаратом. Придут солдаты и приставят штыки. Солдаты? Но ведь это тоже бессмыслица. Почему они укрепляют войну? Разве она им нужна?

Бесчисленные разговоры, подслушанные мной, оживают в памяти. Конечно, солдаты против войны, они чувствуют,

что это не их дело, они угадывают, иногда с поразительным чутьем, ее проклятый смысл, ее прямую им враждебность, они умеют находить слова, чтобы точно определять разницу тех элементов, из которых составлена армия. Но все это ощупью, интуицией, какими-то смутными проблесками. Армия нижних чинов в брожении, но само брожение расплывчато, нет у него центра. Это — нервная субстанция, чувствующая, ощущающая, но у нее нет мозга. На солдат давит сила и заставляет повиноваться, но как сбросить эту силу — они не знают. А тех, кто знает, мало, единицы: Ельцов, Аракел, Гриценко, Чубриков... Но это только шесть баллов. Это еще не восемь баллов. Им приставят винтовки, их уничтожат. Единицы... Бессилие единиц...

Все начинает повторяться и путаться; почему-то представляется вокзал в Белой Церкви, сапожничья кривая вывеска на пошатнувшейся хате, ксендз в буфете I класса и женщины, целующие ксендзу руки. Какой-то высокий человек кивает мне. Поезд уходит, колеса мелькают все слабее и тише. Утомление от длинного дня, как туман, наползает на сознание. Осколок месяца тает в небе. Звезды переливаются, будто жмурятся. Горы спят.

28

ЗАВОЕВАНИЕ КИЗИЛ-ЧУБУКА

Я вскакиваю и хватаюсь за бок от боли. Светло-лимонный рассвет заливает селение. Утренняя свежесть щиплет кожу. Сухопарый, сутулый аскер, разбудивший меня прикладом, снова сует свою винтовку, норовя толкнуть меня. Два солдата с невыспавшимися сердитыми лицами что-то кричат мне, держа ружья со штыками так, точно хотят колоть меня. Аскеры всюду; несколько человек их вбегают и выбегают из гессенской палатки, вынося раненых турок. Мулла сидит уже снаружи; свет утра обнажает его чудовищную худобу, он выкрикивает что-то гневное и показывает единственной рукой на меня и на свою культю. Очевидно, старик осыпает меня ругательствами. У рта его пузырится пена, и он дергается на своем тюфяке. Шоссе усе-

яно голубыми шинелями. Небольшой отряд виднеется возле нашего дома, где-то слышен речитатив чужой команды. В общем аскеров человек двести. У цейхгауза солдаты и курды, вчерашние посетители, возятся, как муравьи у развороченной кучи.

Картина не оставляет никаких сомнений. Я, как герой Уэльса, проснулся в новом мире. «Все кончено!» — говорю я себе с внезапным спокойствием.

Солдат, толкнувший меня, повторяет снова те же движения. Лицо его багровеет; нужно, очевидно, что-то сделать. Но что? У меня мелькает догадка: я вытягиваю кверху руки. Он опускает ружье и, хмурясь, что-то бормоча, обшаривает меня. Коробка с папиросами переходит в его карман. Должно быть, это старший. Он отдает приказание, и остальные двое заходят мне за спину с винтовками наперевес.

Я говорю и жестикулирую в отчаянии, что со мной нет переводчика Гассана. Куда он исчез? Отчего покинул меня и когда? Багровые пятна снова проступают на опыленной коже возле скул и на лбу сутулого аскера. Я тыкаю пальцем на свою повязку Красного креста и показываю в сторону палатки, затем прикладываю ладонь к собственной груди и мотаю головой снова на палатку. Все это вместе взятое должно означать: «Я — доктор этих людей, позвольте мне подойти к ним».

В этот момент из шатра вырывается голос, жалобный, жалкий, и почти одновременно оттуда выбегает с сапогами под мышкой турецкий солдат, лопоухий, круглый, добродушный, с веселыми и довольными глазами. Затем слышна матерная брань Еловикова. Несколько человек русскими голосами кричат и ругаются, и еще два турка выскакивают из палатки, один с шинелью, другой с толстыми, английского типа, высоко шнурующимися ботинками. Меня это сразу успокаивает, тем более, что иррегулярной конницы, этой страшной волчьей стаи, нигде не видно; однако я, пуская в ход руки и мимику, продолжаю настаивать. Аскер, закатив свирепо белки, поднимает винтовку. Я инстинктивно отступаю, втягиваю голову в плечи, и в ту же секунду удар прикладом в спину бросает меня вперед.

Через дорогу бежит Гассан; он вылетает из двери нашего общежития и прыжками мчится к нам. Визг, тонкий, как сирена, на высоких нотах, несется вместе с ним. Винтовка перед самым моим носом повисает в воздухе. Ее хозяин поворачивает голову к бегущему. За мальчиком, как бы догоняя его, торопится косолапыми шагами выгнутых ног солдат. Он машет нам рукой и тоже что-то кричит.

— К начальнику офицеру, — говорит мне, тяжело дыша от бега, Гассан. — Я ему сказал, паша-дохтар. Тебе вреда не будет. Он велел тебе притти.

Затем он осыпает мою стражу стремительными, как выстрелы, фразами. Его спутник подоспевает и ограничивается несколькими короткими словами, с ленивым и сонным любопытством поглядывая на меня.

— Гассан, — удерживаю я мальчика. — Узнай, пожалуйста, что с русскими солдатами.

— О, паша-дохтар, — отвечает он. — Им вреда не будет. Надо все сказать господину начальнику. Идем.

Топоча по коридору, конвой вводит меня в комнату, нашу прежнюю комнату. Возле двери валяются бурка, вещевые турецкие мешки и черная тыква термоса. За тонконогим столом согнулся над картой турецкий офицер. У его левой кисти лягушечьей пастью зияет открытая походная кожаная сумка. Он сидит на обычном месте Василия Степановича. Проникающее сзади него и сверху, через отверстие в стене, солнце делает красноватыми непригла женные волосы. Офицер поднимает на стук шагов голову. Мы встречаемся взглядами. Он медленно встает и смотрит на меня удивленными глазами.

— Шефкет-Шехти, — лепечу я, — бонжур.

29

РЕКА МЕНЯЕТ РУСЛО

— Поверьте мне, — говорит он на безукоризненном французском языке, — я вам искренно сочувствую. До Сиваса около шестисот километров, и этот путь вам предстоит проделать пешком. Только оттуда начинается железная дорога.

Мы выходим на улицу и направляемся к палаткам. Я уже ознакомил его с обстоятельствами, предшествовавшими нашей встрече. Аскеры приветствуют офицера. У первых от шоссе развалин, приспособившись к камням, скорчившись, дремлют солдаты. Над Кара-Су плывет легкий туман. На горах лежат черные тени. Раненые турки окружены своими. Чужая речь, гортанная, несвязная, долетает до меня, как нарочитый набор слогов. На лицах слушателей сдержанная заинтересованность. Одни отходят, другие приходят. Мы посещаем оба госпитальных шатра, потом ханы с больными. В общем все осталось без особых изменений. Кой у кого снята обувь, унесены шинели, одеяла.

— Война, ничего не поделаешь, — как бы извиняясь за своих, пожимает плечами лейтенант.

У тифозных и у дизентериков — страшно. Это дантов ад, мрачный, отталкивающий, раздавливающий. Воздух заражен удушливой вонью. У людей призрачные глаза. Оставшиеся без ухода со вчерашнего полудня, они плавают в собственных испражнениях. Шефкет-Шехти выходит оттуда с зеленым лицом и сведенными челюстями.

— Где же ваши врачи? — спрашиваю я. — Вы видите, что делается. Заберите их, помогите, согрейте, дайте людей и воды, чтобы обмыть их. Сообщите — пусть пришлют санитарную помощь.

Он снова пожимает плечами и объясняет, что все части их двинуты другими дорогами, а его отряд не имеет даже боевой задачи. Нет у него и телефонной связи. Ему надлежит выйти к Холтаку и там слиться со своими. Только к вечеру, вероятно, подтянутся обозы и санитарные учреждения. Придется потерпеть. Что ж делать? Сам он передохнет еще часа два и двинется дальше.

— О, не беспокойтесь, я оставлю вам охрану, двух-трех человек.

— Удивительно несправедливы страдания ваших солдат, — продолжает он. — Их посылает царь, он укрепляет ими свое самодержавие, превосходящее жестокостью деспотизм Абдул-Гамида, и те цепи, в которые ваш народ закован, еще туже стягиваются вашими победами. Простите, как вы, интеллигенция, можете переносить такое положение дел?

— Это неверно, — возражаю я. — Крестьяне и рабочие не хотят воевать, но их гонят строй и закон. Они бессильны сопротивляться. Я тоже против войны, но тогда, значит, надо итти под суд, на каторгу. Но позвольте мне задать вам тот же вопрос. Почему вы здесь, а не дома? Отчего вы у себя не проповедуете о страшной нелепости войны?

Он задерживает пробегающего мимо солдата, зобастого с оспинками аскера. Солдат ест на ходу. Шефкет-Шехти ему что-то говорит, солдат отдает честь и поворачивается.

— Мы сражаемся за молодую Турцию, — отвечает мне офицер, и щеки его окрашиваются румянцем. — Нашему деспотизму голова отсечена; мы деремся за свободу и процветание младотурецкого государства. Наш главнокомандующий Энвер-паша — выходец из интеллигенции, это рядовой офицер, так же, как мы все, борющийся за культуру народа против мрака, в котором держали народ. Вашему царю нужны Стамбул и Босфор, он тянется к горлу Турции, а мы бьемся за прогресс и счастье тридцати миллионов, за то, чтобы русский варвар не задушил нас.

— Допустим, — соглашаюсь я. — Допустим, что вы правы. Но вы сами не отрицаете, что русский солдат в массе — пушечное мясо, темная жертва, не имеющая за собой вины. Часть этой массы в настоящую минуту находится в вашей власти — это мои больные. Поэтому позвольте мне еще раз просить вас поскорее устранить те тяжелые условия, в которые они попали. Может быть, вы не откажете послать одного из ваших солдат в тыл за медицинской помощью?

Его лицо выражает сожаление и отказ. Потом улыбка трогает мягко очерченные губы.

— Я должен принести свои извинения за бегство, — меняет он разговор. — Это было ужасно неделикатно с моей стороны обмануть ваше доверие. Я сознавал, что подвожу вас, но, надеюсь, вы поймете чувства человека, перед которым открылась возможность свободы.

— Да, я пострадал тогда, — быстро говорю я, — но я был рад за вас, поверьте моей искренности. Вы с лихвой искупите то, что причинили мне, если поможете больным...

В этот момент перед ним, как из-под земли, вытягивается зобастый и рябоватый аскер и что-то докладывает. Мы снова стоим уже возле дома. Солдаты курят, сидя на корточках, некоторые продолжают дремать. Жителей Сары-Вары уже не видно, нет и Гассана. Аскер щурит глаза, и тон его кажется мне встревоженным. Он вытягивает к реке руку. Шефкет-Шехти козырьком приставляет ладонь ко лбу; он всматривается в горы. Затем цейссовский бинокль, в граненых башенках, седлает его переносицу.

Уже около десяти часов утра. Лезвие Кара-Су опоясывает черно-желтую покатость земли; холмы за рекой опрокинутыми чашами тянутся к ускользающим синим вершинам. Безоблачное небо высоко простерто над ними. Я смотрю в ту сторону и ничего не вижу.

— Состояние больных настолько печальное, — настаиваю я, — что дорог каждый час. Притом еще неизвестно, прибудут ли к вечеру ваши медицинские учреждения, если их не уведомить о необходимости экстренной помощи. Я прошу вас оказать...

Шефкет-Шехти бросает бинокль; между бровями его складка.

— Довольно с вашими больными, — грубо обрывает он меня и поворачивается к солдату.

Турецкая речь его теперь сыплется сердитыми перекатами. Аскер бегом уносится.

— Прошу никуда не трогаться, — снова говорит мне офицер повелительно и сухо.

Шоссе освобождается от дремоты. Турки поднимаются с земли, сходятся, строятся. В начинающейся толкотне, кажущейся беспорядочной, обозначаются линии колонны. Зобастый аскер, очевидно вестовой, носится возле пейхгауза, перебегает дорогу, скрывается между развалинами. Всюду, где он появляется, тотчас показываются люди. Они обтекают прямую, с большой головой, фигуру Шефкет-Шехти, стоящего у края шоссе и наблюдающего за всем этим движением. От времени до времени он смотрит в бинокль, затем отдает распоряжения. Лицо его, с молодыми, еще не отяжелевшими чертами, становится суровым и серьезным.

Я тоже смотрю за реку. Теперь мне видно на склоне самых далеких отрогов, падающих к горизонту, черное тоненькое щупальце. Оно с невероятной медлительностью ползет оттуда, где за перевалами прячется Башкей, и вытягивается в нить. — «Наши! — думаю я с замиранием, не веря себе. — Неужели наши? Тогда, значит, жизнь, свобода!» — Волнение ударяет меня по коленям.

Шефкет-Шехти приближается в сопровождении солдата.

— Войдите в дом, — строго говорит мне офицер и, видя, что я хочу что-то сказать, сердито прикрикивает: — Без возражений! Мы берем вас с собой, а пока — в дом!

Солдат с примкнутым к плечу ружьем становится у входа. Я иду по коридору в комнату, превращающуюся в мою тюрьму. Крутое предупреждение Шефкета-Шехти, звучащее угрозой, возвращает меня к действительности, к тому, что я в плену и в сущности обречен. Во мне закипает решимость. Жертва, которая мной принесена Гаагской и Женевской конвенциям, становится бессмысленной и в эту секунду нестерпимой. — «Надо бежать! — убеждаю я себя. — Бежать, во что бы то ни стало». Маленькая дверь в глубине коридора, почти заросшая, никем, очевидно, не замеченная, как бы подмигивает мне. В полуоборот за собой я вижу затылок стражи, отдающего целиком свое внимание событиям на улице. Мне нужно только, топоча на месте, подтянуть к себе дверцу. Я это делаю, нагибаюсь и проскальзываю в нее неслышно и ловко, как угорь.

С беспокойным злорадством мне вспоминается в этот момент, как я бежал тем же путем за сахаром для лицеиста естественных наук.

Бугристая площадь за домом пустынна; до меня доносится от шоссе обрывчатое эхо чужих голосов. Я измеряю взглядом расстояние до ближайших холмов предгорья, спасших когда-то лейтенанта турецкой службы. Нет, это слишком голое место, меня подстрелят прежде, чем я скроюсь. В одно мгновенье план меняется. Пригнувшись, почти на четвереньках, я двигаюсь между выпуклостями землянок и сваливаюсь в дыру шорника.

Все шумы селения сразу глупятся. Холодной, нежилой прелостью дышит черная яма; в задней половине ее, полной сырого и темного безмолвия, навалена кучей солома, служившая ложем. Я готовлюсь нырнуть под этот ворох при малейшей опасности. Слух мой напрягается. Все во мне стянуто звериной подобранностью. Я рискую, наконец, вытянуть голову к порогу. Смазанный перебой голосов издалека приходит ко мне.

Я спокойно думаю о больных и раненых; туркам сейчас не до них, и Шефкету-Шехти некогда вымещать свой гнев. Выход из дома находится под надежной охраной, меня хватятся слишком поздно для поисков. Это я понимаю. Однако высокий звук, как стон, взметающийся где-то за домом, заставляет меня насторожиться. Не свирепая ли это брань офицера? Я все жду ударов о землю солдатских ног. Может быть это крик муллы? И вдруг мне делается ясно до обморока, что селение пустеет, голоса и возня отходят, становятся глуше, бесплотнее.

В необычайной радости проходит еще час безмолвия. Наконец я выбираюсь на свет. Долина покоится в несказанной тишине. Вдавливаясь в боковую стену дома, я высовываю нос на улицу и осматриваю безлюдное шоссе. По склонам гессенской палатки ходят белые волны полотнищ. Вынесенные турки лежат на своих мешках; мулла, опрокинувшись ничком, неподвижен, и безрукое плечо его, похожее на обескрыленное насекомое, странно топорщится.

Через Кара-Су, на уровне ущелья, переправляется конница. Игрушечные всадники плывут. В воде колышатся, как поплавки, казачьи шапки и лошадиные морды.

Внезапно апатия овладевает мной. По всем моим ощущениям распространяется, как оскомина, подавленность. Я смотрю на мокрые, в масляных бликах, спины коней, на обветренные лица людей, уже заполняющих берег; я опускаю руки и неподвижно жду.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛЕГОМЕНЫ 5
Годы 13
Глава об энтузиазме 21
Несколько теорий о происхождении туманностей 26
Дисциплина склероза 33
Полуфабрикат вступает в мировую войну 40
Прощание с Россией 42
На пути контр-плана

ШЕСТЬ БАЛЛОВ 49
Наступление на лирику 52
Уважайте отчетность 56
Аракел совершает преступление 61
Общая и частная патология вопроса 67
Об охоте 72
Слово принадлежит уставу 76
Другой конец дисциплины 83
Путешествие вдоль реки Евфрат 93
Единственный способ 97
Душа нижнего чина 102
Без совести 105
Надо уважать дух солдата 110
Аракел теряет веру в исключения 116
Глава с концовкой по экономполитике 124
Совесть русской интеллигенции 128
Начальство заботится 133
Сахар лейтенанта 140
Атака 146
Разговор на чистоту 152
Библейская земля 159
Гром победы 164
На высотах 169
Прорыв 175
Поручик идет домой 181
Гаагская и женевская конвенции в действии 186
Когда начальство ушло 191
Капитуляция 196
Завоевание Кизил-Чубука 198
Река меняет русло